



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Slav 4354. 2. 1390



HARVARD
COLLEGE
LIBRARY





*и
когда*

Н. КАРБЕВЪ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФІЯ

гр. Л. Н. ТОЛСТОГО.

ВЪ

„ВОЙНЪ И МИРЪ“.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе Л. Ф. Пантелѣева.

1888.

5, 8, 12, 26,

28, 29

47,

Н. КАРБЕВЪ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФІЯ

гг. Л. Н. Толстого

въ

„ВОЙНЪ И МИРЪ“.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе Л. Ф. Пантелѣева.

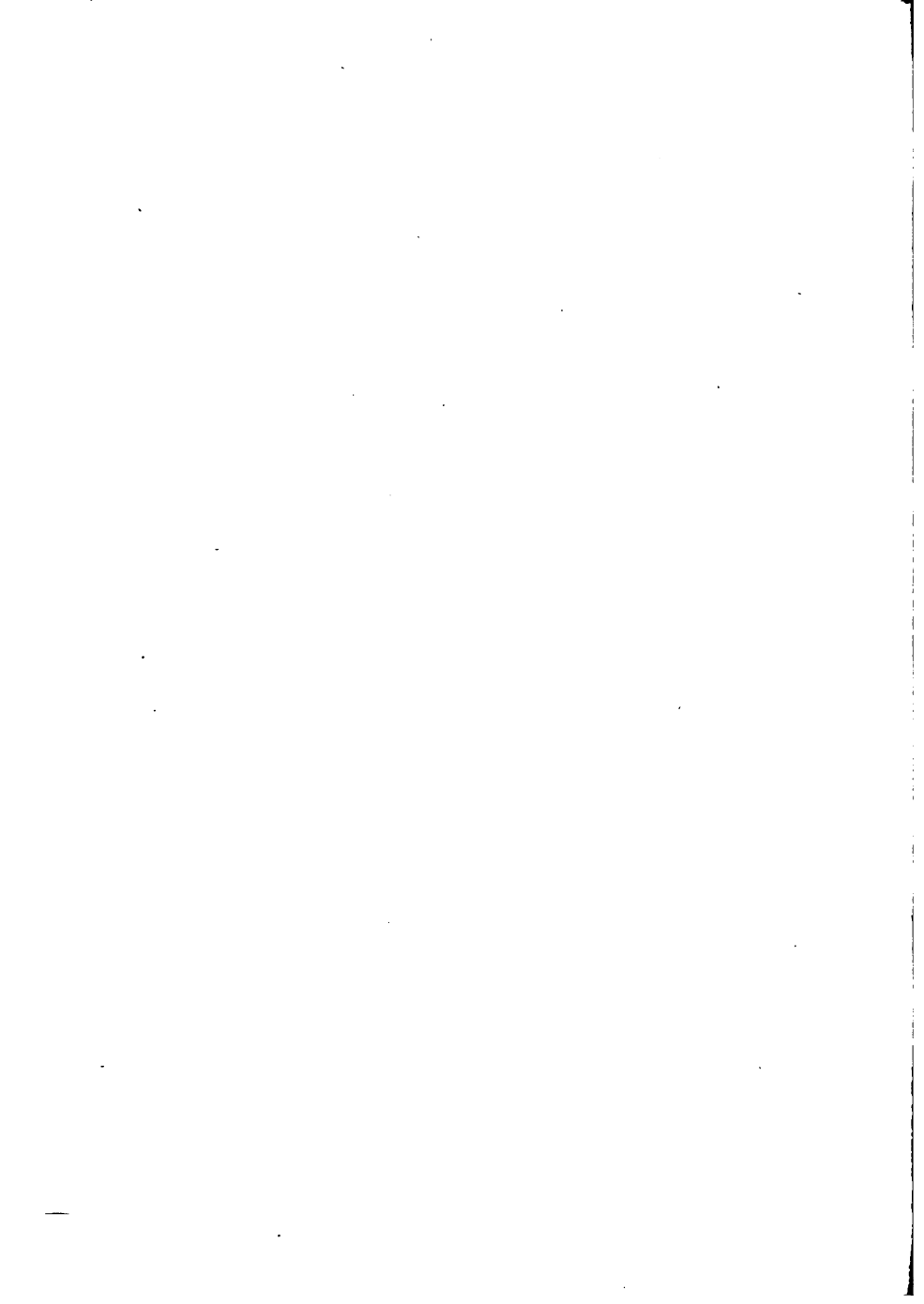
1888.

Slav 4354.2. 1390



Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 12 Февраля 1888 года.

Статья, заключающаяся въ этой брошюрѣ, возникла изъ публичной лекціи, читанной авторомъ въ Солянѣ городкѣ въ апрѣлѣ 1886 г., и была первоначально напечатана въ іюльской книгѣ «Вѣстника Европы» за 1887 г.



Приступая къ разбору извѣстныхъ историко-философскихъ разсужденій гр. Л. Н. Толстого въ «Войнѣ и мирѣ»—романѣ, написанномъ около двадцати лѣтъ тому назадъ, но и до сихъ поръ сравнительно мало разсмотрѣнномъ съ этой стороны,—мы могли бы сослаться на распространенную поговорку насчетъ «поздно» и «никогда», если бы романъ «Война и миръ» не принадлежалъ къ числу произведеній, пересматривать которыя для критики никогда не бываетъ поздно. Кромѣ того, самая тема можетъ именно *теперь* считаться почти современной въ виду *настоящаго* направленія литературной дѣятельности гр. Толстого,—направленія, въ которомъ на первомъ планѣ стоитъ именно философствованіе, хотя бы и совсѣмъ въ иной области, не затронутый въ отвлеченныхъ разсужденіяхъ «Войны и мира» объ исторіи вообще. Говоря объ исторической философіи гр. Толстого, мы имѣемъ въ виду тѣ страницы его романа, гдѣ послѣдній переходитъ, такъ сказать, въ абстрактный философскій трактатъ ¹⁾,—и только этотъ трактатъ подвергнемъ анализу, не касаясь вопроса о томъ, насколько вѣрно или невѣрно освѣщеніе, въ какомъ являются у гр. Толстого дѣйствительныя истори-

¹⁾ См. по второму изданію III, 1—7; VI, 1—5, 256—257; IV, 1—8, 151—166, 231—290.

ческія событія воспроизведенной имъ эпохи. Съ извѣстной точки зрѣнія и это, конечно, представляетъ интересъ, но уже менѣе общаго и болѣе спеціальнаго характера, въ сравненіи съ разрѣшеніемъ принциальныхъ вопросовъ исторической философіи.

І. Центральная идея „Войны и мира“.

«Война и миръ», и по формѣ, и по содержанію, можетъ разсматриваться, какъ синтезъ поэзіи, исторіи и философіи, этихъ трехъ главныхъ органовъ человѣческаго самопознанія. По основному замыслу это—то же самое, что «Божественная Комедія» Данте, въ которой слиты воедино поэтическіе, историческіе и философскіе элементы, хотя со стороны внѣшняго, технического единства «священная поэма» великаго флорентинца далеко оставляетъ за собою «Войну и миръ». Въ «Войнѣ и мирѣ» какъ бы перепутаны страницы изъ трехъ отдѣльныхъ книгъ: изъ романа въ собственномъ смыслѣ, т. е. семейной хроники Ростовыхъ и Болконскихъ, изъ историческаго сочиненія о войнахъ Россіи съ Наполеономъ І и изъ философскаго трактата о сущности историческаго движенія вообще,—до такой степени каждый элементъ выступаетъ самостоятельно, хотя они и соединены между собою, съ одной стороны, мѣстами переходнаго характера отъ романа къ исторіи, гдѣ изображено участіе вымышленныхъ лицъ семейной хроники въ дѣйствительныхъ событіяхъ и вліяніе послѣднихъ на эти лица, а съ другой—мѣстами переходнаго же характера отъ исторіи къ философіи, въ которыхъ событія даютъ поводъ для отвлеченнаго разсужденія на общую тему или служатъ иллюстраціей теоретическихъ тезисовъ. Эти пе-

3/ реходныя мѣста играютъ роль спайки между тремя составными частями, получающими, благодаря ей, видъ одного цѣлаго: безъ этой спайки поэзія, исторія и философія представляли бы изъ себя три неравнаго объема и разнороднаго содержанія книги, случайно сброшюрованныя и переплетенныя вмѣстѣ. Мало того: такъ какъ центръ тяжести всего произведенія лежитъ въ романѣ, и такъ какъ философскій трактатъ примыкаетъ непосредственно только къ исторической части, которая сама занимаетъ въ цѣломъ все-таки второстепенное мѣсто, то трактатъ этотъ, кромѣ того и по отвлеченности своей столь мало подходящій къ художественной образности двухъ другихъ частей, и кажется какимъ-то совершенно лишнимъ придаткомъ, нарушающимъ гармонію цѣлаго, какъ, впрочемъ, нарушаютъ ее мѣста, гдѣ гр. Толстой превращается въ военнаго историка и въ доказательство правильности своихъ взглядовъ помѣщаетъ даже впереди текста планъ бородинскаго сраженія. Указываю на такое построеніе всего произведенія съ двоякою цѣлью: во-первыхъ, этимъ опредѣляется отношеніе философскаго трактата къ цѣлому въ «Войнѣ и мирѣ», какъ не исчерпывающаго въ отвлеченной формѣ всего содержанія произведенія по связи этого трактата только съ однимъ историческимъ элементомъ «Войны и мира»; во-вторыхъ, отказывая произведенію въ техническомъ единствѣ, я имѣю въ виду вскрыть это механическое цѣлое, чтобы обнаружить въ его основѣ единство другого рода, единство внутреннее, его самую общую концепцію, то, что комментаторы Данте по отношенію къ «Божественной Комедіи» очень характерно называли *idea madre*.

Представьте себѣ, что гр. Толстой построилъ «Войну и миръ» по другому, болѣе совершенному съ формаль-

ной стороны плану, и что планъ этотъ былъ бы такой. Говоря схематически, его произведеніе оказывается въ расположеніи трехъ указанныхъ выше элементовъ вытянутымъ по прямой линіи: романъ переходитъ въ исторію, исторія—въ философію, и послѣдняя съ первымъ составляютъ два полюса; но не ограничишься гр. Толстой въ своихъ отвлеченныхъ разсужденіяхъ одной историческою жизнью, а дай въ нихъ мѣсто и вопросу о жизни личной, столь богато и разнообразно воспроизведенной въ семейной хроникѣ, и связи онъ эту расширенную философію съ романомъ переходными мѣстами,—сближеніе двухъ полюсовъ превратило бы прямую линію въ замкнутый въ себѣ циклъ романа, переходящаго въ исторію, исторіи, приводящей къ философіи, и философіи, опять соприкасающейся съ романомъ. Вотъ въ центрѣ воображаемаго цикла и помѣщалась бы основная идея цѣлаго, носительница его внутренняго единства. Конечно, формулировать эту идею въ немногихъ словахъ такое построеніе «Войны и мира», пожалуй, и не облегчило бы, но она выступала бы рельефнѣе и сама давалась бы въ руки, — эта центральная идея. А она именно существуетъ и при теперешнемъ несовершенномъ архитектурическомъ планѣ «Войны и мира»: есть здѣсь одна мысль, къ которой не даромъ же не разъ возвращается гр. Толстой, и эта, а не другая какая-либо мысль, имѣетъ право на значеніе центральной идеи всего произведенія. «Жизнь, — говоритъ, во-первыхъ, гр. Толстой,—*настоящая жизнь людей съ своими существенными интересами здоровья, болязни, труда, отдыха, съ своими интересами мысли, науки, поэзіи, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, пла, какъ и всегда*, независимо и внѣ политической близости и вражды съ Наполеономъ и *внѣ всевозможныхъ пре-*

образованій (III, 1—2)... Есть двѣ стороны жизни въ каждомъ человѣкѣ,—замѣчаетъ онъ, во-вторыхъ:—жизнь личная, которая тѣмъ болѣе свободна, чѣмъ отвлеченнѣе ея интересы, и жизнь стихійная, *роевая*, гдѣ человѣкъ неизбѣжно исполняетъ *предписанные ему законы*. Человѣкъ сознательно живетъ для себя, но служить *безсознательнымъ орудіемъ* для достиженія историческихъ общечеловѣческихъ цѣлей» (IV, 5). «Какъ солнце и каждый атомъ ээира,—читаемъ мы въ третьемъ мѣстѣ,—есть шаръ законченный въ самомъ себѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ только атомъ недоступнаго человѣку по огромности цѣлаго,—такъ и каждая личность *носитъ въ себѣ свои цѣли* и между тѣмъ носить ихъ для того, чтобы *служить недоступнымъ человеку цѣлямъ общимъ*» (VI, 165). Въ приведенныхъ словахъ, по моему мнѣнію, и заключается «*idea madre*» «Войны и мира»: это произведеніе гр. Толстого есть, такъ сказать, историческая поэма на философскую тему о двойственности человѣческой жизни; въ немъ гр. Толстой изображаетъ обѣ эти жизни, иллюстрируя свою мысль на фиктивныхъ и фактическихъ примѣрахъ переплетающихся между собою семейной хроники и національной эпопеи, но переводя на отвлеченный языкъ философіи только часть всей своей мысли, т.-е. свой взглядъ на жизнь историческую. Все въ «Войнѣ и мирѣ», не относящееся прямо къ философіи въ формѣ трактата, мы раздѣлили съ внѣшней стороны на романъ и исторію, т.-е. на вымыселъ и правду, но со стороны внутренней нужно принять тутъ другое дѣленіе: гр. Толстой изобразилъ здѣсь человѣческую личность въ разныхъ ея модификаціяхъ, пользуясь одинаково образами, созданными его чисто-поэтическимъ творчествомъ, и историческими фигурами, воспроизведенными на основаніи определен-

ныхъ фактическихъ данныхъ, и представилъ въ рядѣ картинъ историческое движеніе международной борьбы, выводя безразлично на сцену и дѣйствительно существовавшихъ людей, и лица, родившіяся въ его собственной творческой фантазіи. Другими словами, романъ и исторія—двѣ формы, подъ каждою изъ которыхъ скрывается одно и то же, хотя и двойственное содержаніе, т.-е. изображеніе человѣческой личности и историческаго движенія въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Вѣдшее соединеніе переплетающихся между собою романа и исторіи, семейной хроники и національной эпопеи основано въ «Войнѣ и мирѣ» на представленіи участія въ событіяхъ всѣхъ людей, а не однихъ такъ-называемыхъ историческихъ лицъ, и на представленіи вліянія событій на личную жизнь и личную судьбу этихъ самыхъ людей, а не на однѣ націи, государства, политическія системы и т. п., взятая въ отвлеченіи отъ реальныхъ человѣческихъ существъ. Если самый замыселъ дать въ одномъ произведеніи синтезъ поэзіи, исторіи и философіи слѣдуетъ признать однимъ изъ самыхъ крупныхъ явленій во всей нашей литературѣ, то еще болѣе грандіозной представляется намъ та общая философская мысль, которую положилъ гр. Толстой въ основу своей исторической поэмы, какъ бы мы ни относились къ выводамъ, дѣлаемымъ гр. Толстымъ изъ этой мысли.

Въ исторіи человѣкъ является существомъ активнымъ и пассивнымъ: онъ дѣйствуетъ въ исторіи, и исторія дѣйствуетъ на него. Въ своей великолѣпной исторической композиціи гр. Толстой изображаетъ оба эти дѣйствія съ той точки зрѣнія, съ какой самъ смотритъ на историческую жизнь вообще, и установленіе этой точки зрѣнія, развитіе возникающихъ изъ основнаго взгляда

положений и составляет содержание его историко-философского трактата. Представить человека, какъ активное и пассивное существо исторіи,—задача, достойная писателя, который хотѣлъ выступить въ одномъ и томъ же произведеніи и въ качествѣ художника, и въ качествѣ мыслителя, и которому потому предстояло коснуться интереснѣйшихъ проблемъ психологіи и социологіи. Посмотримъ, какъ гр. Толстой справился съ этой задачей.

Дѣйствіе исторіи на человека бываетъ вообще двоякаго рода: одно способно заинтересовать психолога, другое—социолога; первое состоитъ въ непосредственномъ вліяніи событій на человѣческую душу, такъ сказать, во вторженіи во внутренній міръ человека; второе заключается въ томъ, что историческое движеніе пересоздаетъ формы общественной жизни, коими опредѣляется извнѣ вся жизнь личности. Гр. Толстой съ большимъ успѣхомъ выполнилъ свою задачу, какъ психологъ: начиная съ художественнаго приѣма описывать событія по производимымъ ими впечатлѣніямъ на лицъ, въ нихъ дѣйствующихъ,—такъ онъ описываетъ шенграбенское или аустерлицкую битву по впечатлѣніямъ князя Андрея или Николая Ростова, изображаетъ пріѣздъ императора Александра въ Москву въ волненіяхъ Пети,—и кончая самымъ содержаніемъ «Войны и мира», заключающимъ, въ значительной степени, въ воспроизведеніи процесса внутренняго перерожденія личности подъ сложнымъ и разнообразнымъ вліяніемъ цѣлаго ряда событій, гр. Толстой мастерски справился съ этой субъективной стороной историческаго движенія, съ личными впечатлѣніями отъ событій, переходящими и въ мотивы личной дѣятельности внѣ замкнутыхъ предѣловъ чисто индивидуальнаго бытія. Тутъ гр. Толстой проникаетъ въ самую глубь взаимодѣйствія между личностью и исторіей,

составляющего суть процесса движущейся общественной жизни ¹⁾. И эта личность въ своемъ пассивномъ и активномъ отношеніи къ исторіи выступаетъ у него въ громадномъ количествѣ человѣческихъ экземпляровъ,— историческихъ фигуръ и вымышленныхъ лицъ, политическихъ дѣятелей и частныхъ людей,—экземпляровъ, такъ сказать, индивидуальныхъ, съ обстоятельной характеристикой каждаго, и экземпляровъ массовыхъ въ родѣ мужиковъ, сжигающихъ сѣно, чтобы оно не досталось врагу, или бѣгущихъ солдатъ, видъ которыхъ вызываетъ у Кутузова энергичное восклицаніе: «мерзавцы»! Оставляя въ сторонѣ созерцаніе исторіи со всѣми его послѣдствіями для внутренней жизни человѣка, какъ фактъ чисто личнаго бытія, пока это созерцаніе не вызываетъ человѣка къ дѣятельности, гр. Толстой въ своей исторической философіи разсматриваетъ вопросъ о дѣйствіи человѣка въ исторіи и вмѣстѣ съ этимъ переходитъ на почву соціологіи. Но дѣйствіе исторіи на человѣка состоитъ не въ одномъ непосредственномъ вліяніи событій на душу, на внутренній міръ личности: личная жизнь обусловлена извѣстными соціальными формами, измѣняющимися путемъ историческаго процесса; отъ этихъ формъ, отъ всего уклада общественной жизни зависятъ полнота, свобода и благополучіе личнаго бытія, и представить дѣйствіе исторіи на человѣка съ этой стороны есть задача соціолога. Но гр. Толстой здѣсь-то и допускаетъ громадный пробѣлъ въ своей исторической философіи: по его словамъ, какъ мы видѣли, настоящая жизнь людей съ своими существенными интересами идетъ всегда независимо и внѣ всевозмож-

¹⁾ См. мои „Основные вопросы философіи исторіи“. С.-Пб. 1887. II, 263 и слѣд.

ныхъ преобразованій (III, 1—2), какъ будто формы общественной жизни безразличны по отношенію къ существеннымъ интересамъ индивидуальнаго бытія, требующимъ удовлетворенія. Какое капитальное значеніе имѣетъ этотъ пунктъ во всей исторической философіи «Войны и мира» — мы еще увидимъ.

Мы привели выше три мѣста изъ «Войны и мира», въ которыхъ выражена основная концепція всего произведенія: это — мысль о двойственности человѣческой жизни. Въ этой концепціи мы обнаружили существенный пробѣлъ: гр. Толстой игнорируетъ социологическую сторону исторіи, «всевозможныя преобразованія», какъ онъ выражается, которыя будто бы безразличны для «настоящей» жизни. Во второмъ изъ приведенныхъ мѣстъ, выражающихъ общую концепцію «Войны и мира», сказано, что упомянутая двойственность существуетъ въ жизни *каждаго* человѣка. Не даромъ поэтому гр. Толстой заставляетъ принимать участіе въ историческихъ событіяхъ лица, созданныя его творческой фантазіей, и вводитъ въ ряды обыкновенныхъ смертныхъ, въ одинъ человѣческой ростъ съ ними, чисто историческія фигуры: участіе въ исторіи не есть привилегія однихъ героев. двойственность жизни присуща каждому человѣку. На этомъ гр. Толстой даже особенно настаиваетъ. «До тѣхъ поръ, — говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ своихъ разсужденій, — до тѣхъ поръ, пока пишутся исторіи отдѣльныхъ лицъ, — будь они Кесари, Александры или Лютеры и Вольтеры, — а не исторіи *всѣхъ*, безъ одного исключенія, всѣхъ людей, принимающихъ участіе въ событіи, нѣтъ никакой возможности описывать движеніе человѣчества безъ понятія о силѣ, заставляющей людей направлять свою дѣятельность къ одной цѣли» (VI, 243). Отвѣчая на вопросъ объ этой силѣ, онъ находитъ, что «движе-

іе народовъ производитъ не власть, не умственная дѣятельность, даже не соединеніе того и другого, какъ то думали историки,, но дѣятельность *всѣхъ* людей, принимающихъ участіе въ событіи» (VI, 264). Мы согласимся съ гр. Толстымъ, что съ такой точки зрѣнія «непосредственно уловить и обнять,—словомъ, описать жизнь не только человѣчества, но одного народа представляется невозможнымъ» (VI, 231), ибо «жизнь народовъ не вмѣщается въ жизнь нѣсколькихъ людей» (VI, 252). Какъ же поступаетъ самъ гр. Толстой въ описаніи взятаго имъ историческаго движенія? Съ одной стороны, онъ выводитъ на сцену нѣсколькихъ людей, о которыхъ говорятъ историки, съ другой—еще нѣкоторыхъ людей, созданныхъ его воображеніемъ, но эти нѣкоторые люди въ его изображеніи дѣлаются типическими представителями всѣхъ другихъ, одновременно принимающихъ участіе въ событіи. «Движеніе русскаго народа на востокъ, въ Казань и Сибирь выражается ли въ подробностяхъ больного характера Ивана IV-го и его переписки съ Курбскимъ?»—спрашиваетъ гр. Толстой въ поясненіе своей мысли о томъ, что жизнь народовъ не вмѣщается въ жизнь нѣсколькихъ лицъ. Конечно, нѣтъ; но движеніе русской народной массы на востокъ можно до нѣкоторой степени обобщить въ біографіяхъ одного какого-либо человѣка или нѣсколькихъ лицъ, уходившихъ въ Казань и Сибирь, и въ сущности то же самое дѣлаетъ гр. Толстой въ «Войнѣ и мирѣ», замѣняя всѣхъ русскихъ людей, принимавшихъ участіе въ событіяхъ, нѣсколькими типическими представителями, играющими роль въ романѣ или случайно появляющимися въ историческихъ описаніяхъ. Онъ протестуетъ противъ стараго пріема историковъ «разсматривать дѣйствія одного человѣка, царя, полководца, какъ сумму произволовъ людей, тогда какъ

сумма произволовъ людскихъ никогда не выражается въ дѣятельности одного историческаго лица» (V, 2)—и рекомендуетъ другой способъ: «только,—говоритъ онъ, допустивъ безконечно малую единицу для наблюденія—дифференціалъ исторіи, т.-е. однородныя влеченія людей, и достигнувъ искусства интегрировать (брать суммы этихъ безконечно малыхъ), мы можемъ надѣяться на постигновеніе законовъ исторіи» (V, 3). Такъ и поступилъ гр. Толстой въ «Войнѣ и мирѣ»: онъ старался принять въ расчетъ однородныя влеченія всѣхъ людей, участвовавшихъ въ событіяхъ, а результатомъ того, что онъ называетъ интеграціей, были выведенныя имъ лица, суммирующія въ нѣсколькихъ образахъ массы индивидуумовъ, однородныхъ по характеру или общественному положенію, однородныхъ на протяженіи всей своей жизни или въ отдѣльные моменты, подъ вліяніемъ чувства страха, переходящаго въ панику, негодованія при видѣ оскорбленной народной святыни и т. п. Въ концѣ концовъ, у гр. Толстого дѣйствуютъ всѣ, хотя онъ показываетъ намъ только нѣкоторыхъ, и какъ искусно заставилъ онъ дѣйствовать вмѣстѣ людей, дѣйствительно существовавшихъ, и лица, рожденныя его творческимъ воображеніемъ! Онъ съ большимъ успѣхомъ отказался отъ традиціи стараго историческаго романа, грѣшившаго противъ правды двоякимъ образомъ: старый историческій романъ или выводилъ на первомъ планѣ настоящія историческія фигуры на ихъ героическомъ пьедесталѣ, сочиняя о нихъ разныя небылицы и выдумывая цѣлыя событія, или же заставлялъ дѣйствительныя событія совершаться исключительно вслѣдствіе вмѣшательства въ исторію вымышленныхъ героевъ, являвшихся въ рѣшительныя минуты, чтобы принять участіе въ событіяхъ и сдѣлать въ ихъ ходѣ цѣлый переворотъ. У гр. Толстого

историческій фактъ представляется безъ искажающихъ прикрасть, а вымыселъ не возводится на степень историческаго факта, рѣшившаго судьбу событія.

Умѣя понять разнообразіе мотивовъ, которые заставляютъ всѣхъ людей принимать участіе въ исторіи, гр. Толстой и здѣсь допустилъ, однако, пробѣлъ и притомъ весьма существеннаго свойства: разъ онъ отнесся къ социологической сторонѣ исторіи, къ измѣненію культурно-соціальныхъ формъ или «всевожможнымъ преобразованіямъ», по его собственному выраженію, какъ къ дѣлу безразличному для настоящей жизни, онъ долженъ былъ и ту часть человѣческой дѣятельности, которая направлена на эту сторону жизни, подвергнуть нѣкоторому ostracismu. Гр. Толстой доходитъ далѣе до утвержденія, будто сознательное стремленіе къ общему благу путемъ преобразованія формъ жизни даже совсѣмъ невозможно: «для человѣка, не одержимаго страстью,—говоритъ онъ, напр.,—*bien public* никогда неизвѣстно; но человѣкъ, совершающій преступленіе, всегда вѣрно знаетъ, въ чемъ состоитъ это благо». Не мы первые отмѣчаемъ, что вообще гр. Толстой, и не въ «Войнѣ и мирѣ» только, даже очень несимпатично относится къ общественнымъ дѣятелямъ всякаго рода, и если въ «Войнѣ и мирѣ» масса людей принимаетъ участіе въ исторіи, то подѣ влияніемъ стихійной силы чувства; историческое движеніе подѣ влияніемъ идеи о *bien public* съ такой точки зрѣнія должно являться полнѣйшей загадкой, и было бы очень любопытно по-смотри́ть, какъ справился бы гр. Толстой съ своей исторической задачей въ «Декабристахъ», писать которыхъ онъ начиналъ. Отсюда понятенъ и такой выводъ изъ общей концепціи гр. Толстого: «только одна безсознательная дѣятельность, — говоритъ онъ, — приноситъ

плоды; и человекъ, играющій роль въ историческомъ событіи, никогда не понимаетъ его значенія». Если такъ, то остается только объявить совокупность всѣхъ общественныхъ и историческихъ дѣятелей за простые орудія исторіи, не вѣдающія, что творятъ, а въ эту категорію войдутъ всѣ, которыя въ той или другой формѣ направляютъ свою дѣятельность къ общественнымъ цѣлямъ. Такъ гр. Толстой и дѣлаетъ, заявляя въ мѣстахъ, приведенныхъ мною и заключающихъ его основную мысль,—что въ исторической жизни человекъ есть бессознательное, несвободное орудіе чего-то роковаго. Вотъ почему и въ своей исторической философіи гр. Толстой ни единымъ словомъ не обмолвился о содержаніи историческаго движенія, какъ измѣненія общественныхъ формъ, ограничившись вопросомъ о простомъ механизмѣ этого движенія, столь, по его мнѣнію, безразличнаго для «настоящей», по его опредѣленію, т.-е. личной жизни. Последняя, кромѣ того, представляется ему, какъ мы опять-таки видѣли, въ одномъ изъ приведенныхъ мѣстъ (V, 5), наиболѣе свободной, тогда какъ въ жизни исторической «человекъ,—по его словамъ,—неизбѣжно исполняетъ предписанные ему законы», т.-е. дѣйствуетъ совершенно фатально. Послѣ всего сказаннаго, мы надѣемся, каждый согласится съ нами, что въ выбранныхъ нами трехъ мѣстахъ, дѣйствительно, заключается основная идея всего произведенія, которою опредѣляется и содержаніе, и характеръ самой исторической философіи «Войны и мира». Разбору этой философіи мы думаемъ, однако, предпослать нѣсколько указаній на то, что, не касаясь содержанія идей гр. Толстого, мы обнаруживаемъ въ трехъ главныхъ элементахъ его произведе-

нія—въ романѣ, исторіи и философіи—одну и ту же реалистическую тенденцію.

II. Историческій и философскій реализмъ и социальный индифферентизмъ въ „Войнѣ и мирѣ“.

Мы не будемъ, разумѣется, останавливаться на художественномъ реализмѣ гр. Толстого: это, во-первыхъ, отвлекло бы насъ отъ главной нашей темы, а во-вторыхъ, тутъ пришлось бы повторять только истины, сдѣлавшіяся общими мѣстами. Интереснѣе посмотрѣть, какъ проявился реализмъ гр. Толстого въ области исторіи и исторической философіи.

Реализму обыкновенно противопоставляютъ идеализмъ, и очень часто сущность перваго опредѣляютъ этимъ противоположеніемъ. Но, намъ кажется, тутъ существуетъ нѣкоторое недоразумѣніе, нерѣдко спутывающее понятія, потому что подъ идеализмомъ разумѣютъ иногда три разные понятія ¹⁾. Первый смыслъ *идеализма*, говоря коротко, относится къ творчеству идеаловъ, т.-е. идей того, *что должно быть*, какъ реализмъ имѣетъ отношеніе къ вѣрному воспроизведенію того, *что есть на самомъ дѣлѣ*. Одно другому не противорѣчить, и одна изъ особенностей русской литературы вообще и произведеній гр. Толстого въ частности заключается въ такомъ сочетаніи реализма съ идеализмомъ, при которомъ существующее на самомъ дѣлѣ не смѣшивается съ должествующимъ существовать, и въ воспроизводимой жизни усматривается не одна голая «натура», но и стремленіе къ идеалу,—чѣмъ нашъ

¹⁾ Подробнѣе см. въ „Осн. вопр. фил. ист.“, I, 190 и слѣд.

реализмъ такъ выгодно и отличается отъ французскаго натурализма. Послѣдній отнимаетъ у человѣческой жизни цѣлую сторону ея содержанія, но бываютъ направленія, сообщающія этой жизни болѣе, чѣмъ она на самомъ дѣлѣ представляетъ: это будетъ уже *идеализація*, т.-е. воспроизведеніе дѣйствительности не такъ, какъ она есть, а извѣстнымъ образомъ прикрашенное, съ нѣкоторой подмалевкой, приближающей представленія о томъ, что есть, къ идеальнымъ и, слѣдовательно, недѣйствительнымъ образамъ. Поэтическая идеализація ведетъ свое начало изъ временъ мифологіи, въ которой впервые извѣстные идеалы воплотились въ образахъ боговъ, полубоговъ, героевъ, богатырей и вообще существъ, одаренныхъ нечеловѣческими свойствами по части физической силы, совершенствъ всякаго рода и нравственнаго величія, какихъ на самомъ дѣлѣ не бываетъ. Закваска идеализаціи присуща обоимъ главнымъ направленіямъ европейской литературы, классическому и романтическому, какъ въ ихъ изначальной формѣ въ древности и въ средніе вѣка, такъ и въ ихъ новой формѣ псевдоклассицизма и нео-романтизма съ ихъ условными правилами, — и современный нѣмецкій романъ, въ сравненіи съ русскимъ, все еще носить слѣды идеализирующей подмалевки дѣйствительности. Исторіографія, особенно популярная, въ этомъ отношеніи всегда подчинялась господствующимъ литературнымъ вкусамъ: и въ ней можетъ быть обнаруженъ своего рода классическій стиль или своего рода романтическая манера идеализаціи историческихъ лицъ и событій. Трезвое отношеніе къ явленіямъ проплаго, безъ попытокъ ставить ихъ на классическій пьедесталь героизма или окружать романтическимъ ореоломъ совершенства, и есть реализмъ въ исторіографіи. Новая русская литература развивалась подт-

вліянієм западно-європейських образцовъ въ эпоху господства сначала же-классицизма, а потомъ ново-романтизма, и первые шаги ея по пути самостоятельности ознаменовались освобожденіємъ отъ идеализаціи дѣйствительности: русскій реализмъ не былъ выдуманъ теоретически, онъ не дошелъ до крайностей натурализма являющагося во Франціи реакціей идеализаціи, и сумѣлъ дать въ романѣ законное мѣсто идеализму, обходясь безъ идеализаціи, столь еще замѣтной въ романѣ нѣмецкомъ. Итакъ, реализмъ противоположенъ не чему иному, какъ именно идеализаціи, которая одинаково можетъ встрѣчаться какъ въ области поэзіи, такъ и въ области исторіографіи. Если отъ способа проявленія русскаго ума въ романѣ позволительно сдѣлать заключеніе о томъ, каково будущее русской самостоятельной философіи, то нужно признать, что ей предстоитъ быть также реалистической—безъ изгнанія идеализма и изъ этой сферы, съ отнесеніемъ идеализма къ творчеству идеаловъ. Реализму здѣсь мы противопоставляемъ *идеологию*, т.-е. такое отношеніе мысленія къ идеямъ или общимъ понятіямъ, при которомъ послѣднія, будучи въ сущности продуктами нашего логическаго творчества, вмѣсто того, чтобы служить намъ средствомъ разбираться въ реальныхъ явленіяхъ, сами заступаютъ ихъ мѣсто передъ нашею мыслью. Начало свое идеологія ведетъ изъ миѳическаго олицетворенія отвлеченныхъ понятій, когда, напр., храбрость или добродѣтель мыслили какъ нѣкія реальности, а не обобщенія нашего ума, и эта идеологія лежитъ въ основѣ старой схоластической и метафизической философіи, замѣнявшей міръ реальныхъ явленій міромъ абстрактныхъ понятій. Примѣняя сказанное объ идеализаціи къ исторіи въ «Войнѣ и мирѣ», а сказанное объ идеологіи—къ исторической философіи въ этомъ произ-

веденіи, мы найдемъ, что и тутъ гр. Толстой, какъ и въ романѣ, выступаетъ, по крайней мѣрѣ въ своихъ тенденціяхъ, настоящимъ реалистомъ: съ этой точки зрѣнія «Война и миръ» особенно замѣчательны, какъ произведение, въ которомъ проведена одна и та же реалистическая тенденція въ областяхъ поэзіи, исторіографіи и философіи, хотя, какъ мы увидимъ, оно и страдаетъ неполнотою своего идеализма. На доказательствѣ своей мысли относительно историческихъ описаній гр. Толстого долго останавливаться не станемъ, но реализмъ его философіи заслуживаютъ болѣе внимательнаго разсмотрѣнія.

Художникъ превращается въ ученаго, романистъ дѣлается историкомъ, и мы въ полномъ правѣ ожидать, что общіе приемы, употреблявшіе имъ въ одной области, сохраняются и въ другой: не можетъ же одинъ и тотъ же человѣкъ поклоняться разнымъ богамъ, до такой степени раздвигаться, чтобы оставлять свои реалистическія привычки при переходѣ отъ поэзіи къ исторіографіи. Примѣръ гр. Толстого подтверждаетъ этотъ тезисъ: историческая часть «Войны и мира» чужда изображенія героевъ въ классическомъ стилѣ, романтической манеры идеализированія событій; историческія лица превращаются у автора изъ полубоговъ въ обыкновенныхъ смертныхъ, событія представляются во всей своей реальной правдѣ. Всякая идеализація есть внесеніе въ дѣйствительность нѣкоторыхъ чертъ, въ ней не обрѣтающихся; а такое внесеніе въ исторію не-реального содержанія прежде всего выражается въ представленіи героя, какъ богоподобнаго или пользующагося сверхъестественною властью существа. «Всѣ древніе историки, — говоритъ гр. Толстой, — употребляли одинъ и тотъ же приемъ, чтобы описать и уловить кажущуюся неуловимой жизнь народа. Они описывали жизнь единичныхъ людей, пра-

вѣщихъ народомъ, и эта дѣятельность выражала для нихъ дѣятельность всего народа. На вопросы о томъ, какимъ образомъ единичные люди заставляли дѣйствовать народъ по своей волѣ, и чѣмъ управлялась сама воля этихъ людей, древніе отвѣчали на первый вопросъ—признаніемъ воли божества, подчинявшей народы волѣ одного избраннаго человѣка, а на второй вопросъ—признаніемъ того же божества, направлявшаго эту волю избраннаго къ предназначенной цѣли» (VI, 231). Указавъ на то, что позднѣйшая историографія отвергла такое представленіе о герояхъ въ теоріи, гр. Толстой отмѣчаетъ тотъ фактъ, что на практикѣ историки только видоизмѣнили сущность стараго воззрѣнія: «вмѣсто людей, — говоритъ онъ, — одаренныхъ божественною властью или непосредственно руководимыхъ волею божества, новая исторія поставила или героевъ, одаренныхъ необыкновенными, нечеловѣческими способностями, или просто людей самыхъ разнообразныхъ свойствъ, отъ монарховъ до журналистовъ, руководящихъ массами... Новая исторія отвергла вѣрованія древнихъ, не поставивъ на мѣсто ихъ новаго воззрѣнія и логика положенія заставила историковъ, мнимо отвергнувшихъ божественную власть царей, *другимъ путемъ придти къ тому же самому*» VI, 232). Не касаясь вопроса о томъ, какъ самъ гр. Толстой смотритъ на дѣло и о чемъ рѣчь будетъ идти еще впереди, въ приведенныхъ словахъ мы видимъ протестъ реалиста противъ идеализаціи историческихъ дѣятелей, встрѣчающейся и въ теоріи,—напр., въ извѣстномъ сочиненіи Карлейля «О герояхъ»,—и на практикѣ, въ біографическихъ панегирикахъ или историческихъ трудахъ, приписывающихъ одному какому-либо лицу гигантскіе размѣры, въ сравненіи съ окружающими его людьми, въ родѣ того, какъ это бываетъ

на глубочныхъ изображеніяхъ полководцевъ. Въ своей исторіи гр. Толстой приводитъ идеализированныхъ героевъ къ реальнымъ размѣрамъ чловѣка, хотя, какъ мы увидимъ, въ своей теоріи онъ не понимаетъ дѣйствительнаго значенія тѣхъ лицъ, которыя всегда напрашивались на идеализированіе, по крайней мѣрѣ въ смыслѣ указаннаго преувеличенія.

Не будемъ мы говорить и о томъ, съ какою реальностью изображаетъ гр. Толстой событія, не стараясь вносить въ нихъ ничего такого, что сообщило бы имъ такъ сказать, просвѣтленный, но въ сущности фальшивый видъ. Историки,—и простые, и особенно философствующіе,—весьма склонны поддаваться націоналистическимъ увлеченіямъ, возвеличивать свое на счетъ чужого и приписывать исторіи своего народа особое значеніе, въ чемъ равнымъ образомъ заключается своеобразная идеализація, съ какою, напр., Гегель въ своей «Философіи исторіи» смотрѣлъ на нѣмецкую исторію, какъ на высшую цѣль и послѣдній фазисъ въ развитіи «мірового духа» ¹⁾. У гр. Толстого нѣтъ ни малѣйшаго поползновенія идеализировать ни тѣ явленія, которыя онъ описываетъ, ни общій характеръ нашей исторіи, возводя послѣднюю на степень мистической идеи. «Войну и миръ» упрекали даже въ отсутствіи патріотизма въ силу несовсѣмъ вѣрнаго пониманія «любви къ отечеству и народной гордости» ²⁾, хотя другіе, навязывая гр. Толстому свои тенденціи, доказывали, что онъ—націоналистъ въ ихъ вкусѣ ³⁾. Гр. Толстой несочувственно

¹⁾ См. также въ «Осн. вопр. фил. ист.», I, 76 и 216.

²⁾ А. С. Норговъ. «Война и миръ» (1805—1812) съ исторической точки зрѣнія и по воспоминаніямъ современника. Спб. 1868.

³⁾ Н. Страховъ. Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ. Спб. 1886.

относится къ націоналистическому субъективизму, источнику многих видовъ идеализаціи историческаго представленія. «Какъ скоро,—говоритъ онъ,—историки различныхъ національностей начинаютъ описывать одно и то же событіе, то сила (производящая событіе) понимается различно... Одинъ историкъ утверждаетъ, что событіе произведено властью Наполеона; другой утверждаетъ, что оно произведено властью Александра» (VI 237). Въ другомъ мѣстѣ онъ указываетъ на то, что, «вмѣсто прежнихъ угодныхъ божеству цѣлей народовъ—іудейскаго, греческаго, римскаго, которыя древнимъ представлялись цѣлями движенія человѣчества, новая исторія поставила свои цѣли—блага французскаго, германскаго, англійскаго» (VI, 232), и именно, прибавимъ мы, въ этомъ случаѣ каждый идеализируетъ исторію своего народа. Историческому реализму, въ этомъ отношеніи называющемуся объективизмомъ, враждебенъ не только субъективизмъ націоналистическій, но и то, что можно обозначить, какъ субъективизмъ партійный и профессиональный¹⁾. Гр. Толстой высказывается и противъ послѣднихъ, какъ источниковъ идеализаціи. Онъ отмѣчаетъ, что «Тьеръ, бонапартистъ, говоритъ, что власть Наполеона была основана на его добродѣтели и геніальности; Lanfrey, республиканецъ, говоритъ, что она была основана на его мошенничествѣ и обманѣ народа» (VI, 237). Въ другомъ мѣстѣ, критикуя односторонній взглядъ, представляющій умственную дѣятельность людей причиной или выраженіемъ всего историческаго движенія,—взглядъ, преувеличивающій реальное значеніе писателей, гр. Толстой очень остроумно и въ сущности вѣрно указываетъ на происхожденіе такого воззрѣнія. «Исторія пишется

¹⁾ Примѣры въ «Осн. вопр. фил. ист.», I, 222 и слѣд.

учеными,—говорить онъ,—и потому имъ естественно и пріятно думать, что дѣятельность ихъ сословія есть основаніе движенія всего человѣчества, точно такъ же, какъ это естественно и пріятно думать купцамъ, земледѣльцамъ, солдатамъ; это не высказывается только потому, что купцы и солдаты не пишутъ исторіи» (VI, 241). Историческая и историко-философская литература представляетъ массу примѣровъ разнообразнаго проявленія субъективизма націоналистическаго, партійнаго и профессиональнаго, противнаго историческому реализму, и подобныя замѣчанія гр. Толстого попадаютъ въ цѣль. Наконецъ, особый видъ идеализаціи *всей* исторіи представляетъ изъ себя оптимистическое признаніе ея разумной планомѣрности, зародившееся на почвѣ провиденціализма, ²⁾ и, протестуя вообще противъ внесенія въ исторіографію такой концепціи (VI, 234 и 245), гр. Толстой находитъ такое возраженіе противъ привычки идеализировать исторію, оправдывая данный ходъ событій въ виду какой-либо цѣли, этимъ событіямъ навязываемой: «если, — говоритъ онъ, — цѣль европейскихъ войнъ начала нынѣшняго столѣтія состояла въ величій Россіи, то эта цѣль могла быть достигнута безъ предшествовавшихъ войнъ и нашествія. Если цѣль—величіе Франціи, то эта цѣль могла быть достигнута и безъ революціи, и безъ имперіи. Если цѣль—распространеніе идей, то книгопечатаніе исполнило бы это лучше, чѣмъ солдаты. Если цѣль—распространеніе цивилизаціи, то весьма легко предположить, что, кромѣ истребленія людей и ихъ богатствъ, есть другіе, болѣе цѣлесообразные пути для распространенія цивилизаціи» (VI, 155). Изгоняя изъ историческаго пред-

²⁾ См. тамъ же, I, 55 и слѣд.

ставленія разныхъ формы идеализаціи реально-существующаго, гр. Толстой, однако, не ушелъ отъ своего личнаго субъективизма, проявившагося, какъ мы увидимъ, въ его социальномъ индифферентизмѣ, съ которымъ, конечно, трудно философски понять реально совершающуюся исторію. Въ связи съ этимъ стоитъ его идеализація безсознательной жизни. На эту сторону мы теперь и укажемъ, ссылаясь на слова самого гр. Толстого, но прежде нужно рассмотреть его отношеніе къ тому, что мы назвали идеологіей.

Вопросъ идетъ о реальной силѣ, производящей историческія явленія. Нѣкоторые историки видятъ эту силу во власти, но сама по себѣ власть есть отвлеченное понятіе, обобщающее массу реальныхъ отношеній, и, какъ таковое, не можетъ быть принято за какую-то силу, производящую историческое движеніе, относящуюся къ явленіямъ, какъ причина. Это понятіе вполне примѣнимо во всей своей отвлеченности къ умозрительнымъ наукамъ, но въ области исторіи, имѣющей дѣло съ реальными фактами, нельзя за причину считать то, что есть только отвлеченное понятіе. «Наука права,—говоритъ гр. Толстой,—разсматриваетъ государство и власть, какъ древніе разсматривали огонь, *какъ что-то абсолютно существующее*. Для исторіи же государство и власть суть *только явленія*, точно такъ же, какъ для физики нашего времени огонь есть не стихія, а явленіе» (VI, 246). Отрицая возможность вмѣщать жизнь народовъ въ жизнь нѣсколькихъ людей, онъ указываетъ на то, что «связь между этими нѣсколькими людьми и народами не найдена». «Теорія о томъ,—продолжаетъ онъ,—что связь эта основана на перенесеніи совокупности воли на историческія лица, *есть гипотеза, не подтверждающаяся опытомъ исторіи*... Въ приложеніи къ исто-

рии, какъ только являются революціи, завоеванія, междоусобія,—теорія эта ничего не объясняетъ» (VI, 253). «Еслибы,—говорить и еще гр. Толстой,—область чело-вѣческаго знанія ограничивалась однимъ отвлеченнымъ мышленіемъ, то, подвергнувъ критикѣ то объясненіе власти, которое даетъ наука, чело-вѣчество пришло бы къ заключенію, что *власть есть только слово и въ дѣйствительности не существуетъ*. Но,—продолжаетъ онъ,— для познаванія явленій, *кромя отвлеченнаго мышленія, чело-вѣкъ имѣетъ орудіе опыта*, на которомъ онъ повѣряетъ результаты мышленія» (VI, 254). Другими словами, для гр. Толстого отвлеченное понятіе есть *только слово*, если понятіе это, такъ сказать, не размѣнивается на реальныя явленія, не реализируется въ этомъ смыслѣ. «Наука права,—замѣчаетъ онъ,—можетъ рассказать подробно о томъ, что такое есть власть, *неподвижно существующая во времени* (т.-е. какъ отвлеченное понятіе), но на вопросы историческіе о видоизмѣняющейся во времени власти (т.-е. въ смыслѣ реального явленія), она не можетъ отвѣтить ничего» (VI, 246—247). Поэтому онъ приходитъ къ такому выводу, что отвѣтъ, дѣлающій изъ отвлеченнаго понятія реальную силу, реальную причину явленій, есть только выраженіе, другими словами, вопроса, приводящее къ логическому *«idem per idem»*. Онъ ставитъ рядъ вопросовъ и отвѣтовъ: «какая причина историческихъ явленій?—Власть.—Что есть власть?—Власть есть совокупность воли, перенесенныхъ на одно лицо.—При какихъ условіяхъ переносятся воли массъ на одно лицо?—При условіяхъ выраженія лицомъ воли всѣхъ людей. Т.-е. *власть есть власть*»,—выводитъ отсюда гр. Толстой (VI, 254). Теорія, принимающая власть единичнаго лица за причину событія, по его словамъ, «кажется неопровержи-

мой именно потому, что актъ перенесенія воли народа не можетъ быть провѣренъ, такъ какъ онъ никогда не существовалъ» (VI, 253), а потому въ объясненіи реальныхъ явленій силою, которая сама есть только отвлеченное понятіе, онъ видитъ только призрачное объясненіе. Въ pendant къ этому разсужденію можно поставить другое, именно то, гдѣ рѣчь идетъ о свободѣ воли. Признавая послѣднюю въ области наукъ умозрительныхъ, но не допуская объясненія историческихъ фактовъ, какъ произведенныхъ безпричинными актами воли (VI, 266), гр. Толстой находитъ, что «для разрѣшенія вопроса о томъ, какъ соединяются свобода и необходимость, и что составляетъ сущность этихъ двухъ понятій, философія исторіи можетъ и должна идти путемъ противнымъ тому, по которому шли другія науки: *вмѣсто того*,—поясняетъ онъ,—*чтобы, опредѣливъ въ самихъ себѣ понятія о свободѣ и необходимости, подѣ составленныя опредѣленія подводить явленія жизни*, исторія изъ огромнаго количества *подлежащихъ ей явленій*, всегда представляющихъ въ зависимости отъ свободы и необходимости, *должна вывести опредѣленія* понятій о свободѣ и необходимости» (VI, 272). Свобода воли есть отвлеченное понятіе, и,—говоритъ гр. Толстой—«для исторіи признаніе свободы, *какъ силы, могущей вліять на историческія событія*, т.-е. не подчиненной законамъ (причинности), уничтожаетъ возможность какого бы то ни было знанія» (VI, 285). Однимъ словомъ, гр. Толстой не вводитъ въ исторію отвлеченныхъ понятій въ качествѣ дѣйствующихъ въ ней силъ, не въ примѣръ многимъ философамъ исторіи: у него въ исторіи дѣйствуютъ только реальные существа—*люди*, и они дѣйствуютъ не потому, чтобы были одарены особымъ качествомъ или заставлять себѣ повиноваться другихъ,

абсолютно безвольныхъ людей, или не подчиняться всеобщему закону причинности. Такимъ образомъ, гр. Толстой чуждъ идеализаціи и идеологіи, т.-е. выдачи своего идеала за реальный фактъ и отвлеченной идеи за реальную вещь (хотя и тутъ нужна оговорка: отвлеченное *понятіе* закона исторіи онъ, какъ увидимъ, превращаетъ въ реальную силу, подчиняющую себѣ волю единицы). Въ этомъ и состоитъ его историческій и философскій реализмъ, во имя котораго онъ не отрицаетъ, однако, значенія идей въ умозрѣніи и идеаловъ въ жизни, что не позволяетъ его реализму спуститься въ низменныя сферы эмпиризма и натурализма.

Но въ идеализмъ гр. Толстого есть весьма важный пробѣлъ. Наши идеалы раздѣляются вообще на личные и общественные, и самый идеализмъ бываетъ поэтому этическимъ и социальнымъ; но разъ мы считаемъ себя въ правѣ говорить о *должномъ* въ одной сферѣ, нѣтъ никакихъ основаній изгонять творчество идеаловъ изъ другой. Считая возможнымъ ставить субъективныя цѣли личной жизни и съ ихъ точки зрѣнія оцѣнивать дѣйствительныя ея явленія, мы не можемъ отказываться отъ того же по отношенію къ жизни общественной, процессъ которой и есть исторія ¹⁾. Конечно, одно дѣло—утверждать, что мы знаемъ, чѣмъ, такъ сказать, кончится исторія, и этотъ воображаемый конецъ принимать за цѣль всего ея движенія, а другое дѣло—желать, чтобы историческое движеніе было постепеннымъ осуществленіемъ идеала: гр. Толстой правъ, когда отрицаетъ знаніе цѣли исторіи въ первомъ смыслѣ, ибо постановка такой объективной цѣли есть внесеніе въ

¹⁾ Защиту субъективизма въ этомъ отношеніи см. въ указанномъ моемъ сочиненіи т. I, стр. 234 и слѣд.

будущую дѣйствительность созданнаго нашимъ воображеніемъ, но онъ глубоко заблуждается, отрицая цѣль исторіи и во второмъ, т.-е. субъективномъ смыслѣ. Я показалъ выше, что гр. Толстой игнорируетъ цѣлую сторону исторіи, и это стоитъ въ связи съ отсутствіемъ въ его міросозерпаніи идеала соціальнаго: *весь его идеализмъ исключительно этический.*

Противникъ идеализаціи исторической дѣйствительности, представленія о совершенной разумности общаго хода исторіи, гр. Толстой высказывается рѣшительно противъ объективированной телеологіи (VI, 154) и не разъ категорически заявляетъ, что въ исторіи «конечная цѣль намъ неизвѣстна» (VI, 156), т.-е. онъ не тѣшитъ себя иллюзіей оптимистически настроенныхъ философовъ исторіи, для которыхъ все совершается въ виду такой-то, опредѣленной конечной цѣли. Но тутъ гр. Толстой заходитъ слишкомъ далеко: если отказъ отъ идеализаціи жизненныхъ явленій вообще не помѣшалъ ему творить идеалы личной этики, то такое же отношеніе онъ долженъ былъ сохранить и къ идеаламъ общественнымъ; если онъ позволяетъ себѣ произносить судъ надъ явленіями жизни съ точки зрѣнія идеала этическаго, то онъ долженъ былъ бы примѣнить къ оцѣнкѣ явленій и критерій идеала соціальнаго, понимаемаго въ широкомъ смыслѣ этого слова. Однако онъ этого не только не дѣлаетъ, но проявляетъ удивительный индифферентизмъ къ вопросамъ общественнымъ, поскольку послѣдніе имѣютъ свое самостоятельное содержаніе внѣ чистоморальныхъ вопросовъ. Напр., разсуждая объ истинномъ величіи, онъ находитъ, что нѣтъ его тамъ, гдѣ нѣтъ «простоты, добра и правды» (VI, 62): простота, добро и правда—одинъ изъ его идеаловъ личной жизни, и онъ, конечно, не согласился бы съ

тѣмъ, кто ему сказалъ бы, что это одни лишь «отвлеченія», да мы и не думаемъ говорить это, а указываемъ на то, что въ такомъ случаѣ нельзя признать простыми отвлеченіями идеалы общественные, какъ это дѣлаетъ гр. Толстой. Исходя изъ того, что объективная цѣль исторіи намъ неизвѣстна, онъ распространяетъ эту неизвѣстность и на область нашихъ субъективныхъ требованій отъ исторіи, иронизируя надъ мыслителями, видящими цѣль исторіи въ свободѣ, равенствѣ, просвѣщеніи (другой программы, кажется, нѣтъ,—замѣчаетъ онъ), ибо «ничѣмъ-де не доказано, чтобы цѣль человѣчества состояла въ свободѣ, равенствѣ, просвѣщеніи!» (VI, 251). Отсюда у него нѣтъ иного критерія для суда надъ исторіей, кромѣ исключительно этического идеала, съ точки зрѣнія котораго можно не одобрять извѣстныхъ лицъ и извѣстные поступки: вспомнимъ, напримѣръ, его строгій приговоръ, хотя бы надъ Наполеономъ. Онъ не допускаетъ, что «такъ-называемая наука имѣетъ для историческихъ лицъ и событій неизмѣримое мѣрило хорошаго и дурного» (VI, 154), хотя съ моральной точки зрѣнія самъ же видитъ въ простотѣ, добрѣ и правдѣ мѣрило величія отдѣльной личности. Онъ осмѣиваетъ историковъ, которые «профессируютъ знаніе конечной цѣли движенія человѣчества» (та же страница), считая идеи свободы, равенства, просвѣщенія пустыми отвлеченіями. Слышится, напримѣръ, въ его словахъ какой-то ироническій тонъ по поводу неодобренія историками реакціи послѣ низложенія Наполеона,—неодобренія «на основаніи того знанія блага человечества, которымъ они обладаютъ» (VI, 152). Правда, онъ ссылается на то, что «историкъ точно также по прошествіи нѣкотораго времени окажется несправедливымъ въ своемъ воззрѣніи на то, что есть благо че-

ловѣчества» (VI, 153), ибо «дѣятельность историческаго лица имѣла, кромѣ этихъ цѣлей (т.-е. вполне доступныхъ указанію результатовъ), еще другія, болѣе общія и недоступныя намъ цѣли» (VI, 154), какъ будто исправленіе историческихъ приговоровъ не входитъ въ работу развивающейся науки; но причина скептицизма гр. Толстого не здѣсь: онъ иронически относится къ самой идеѣ *bien public*, потому что для него только личная жизнь есть «настоящая», внѣ всевозможныхъ преобразованій (III, 1—2). Для него какъ бы не существуетъ различныхъ временъ съ измѣняющимися формами жизни: «говорять,—замѣчаетъ онъ, на примѣръ,—говорять—«въ наше время, въ наше время», такъ какъ воображаютъ, что нашли и оцѣнили особенности нашего времени, и думаютъ, что *свойства людей* измѣняются съ временемъ» (III, 85). Измѣняющіяся формы жизни, которыя кладутъ такую печать на личность и судьбу человѣка, для него не существуютъ. Отсюда одинъ шагъ до умаленія исторіи, до признанія за нею одной формы въ видѣ чисто механическаго сцѣпленія фактовъ безъ внутренняго содержанія. Такъ оно и выходитъ по исторической философіи гр. Толстого: «цѣль волненій европейскихъ народовъ намъ неизвѣстна,—говоритъ онъ, на примѣръ,—а извѣстны только факты, состоящіе въ убійствахъ сначала во Франціи, потомъ въ Италіи, въ Африкѣ, въ Пруссіи въ Австріи, въ Испаніи, въ Россіи, и движеніе съ запада на востокъ и съ востока на западъ составляетъ сущность и цѣль событій» (VI, 156—157). Намъ извѣстны только факты! Сущность событій, весь ихъ смыслъ опредѣляется чисто механическимъ движеніемъ прилива и отлива народныхъ массъ, убивающихъ, грабящихъ и жгущихъ! Поэтому въ главной части своей исторической философіи, т.-е. въ послѣднихъ шести де-

сяткахъ страницъ «Войны и мира», гр. Толстой подвергаетъ историческій процессъ, отвлеченно взятый, анализу со стороны только его формы и механизма,—что производитъ движеніе человѣчества и какъ оно происходитъ,—совершенно игнорируя вопросъ о смыслѣ историческаго движенія со стороны его внутренняго содержанія и результатовъ для того блага, къ которому стремится человѣкъ. Однимъ словомъ, тутъ гр. Толстой не съумѣлъ сочетать требованія реализма и идеализма, и историческій процессъ является для него поэтому процессомъ безъ смысла. Онъ признаетъ одинъ социальный инстинктъ въ его стихійной, «роевой» формѣ непосредственной любви къ семьѣ, къ приснымъ, къ родинѣ, пожалуй, и вообще къ брату по человѣчеству; но гражданское самосознаніе, всѣ виды общественной дѣятельности, идея общаго блага, прогрессъ или регрессъ въ измѣненіи социальныхъ формъ,—все это для него что-то непонятное и, какъ таковое, стоящее внѣ «настоящей» жизни съ ея «существенными интересами здоровья, болѣзни, труда, отдыха, съ ея интересами мысли, науки, поэзіи, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей» (III, 1).

Мы позволимъ себѣ на основаніи всего сказаннаго формулировать такой общій приговоръ объ исторической философіи «Войны и мира»: насколько ея достоинство заключается въ общей реалистической концепціи, настолько социальный индифферентизмъ, очень послѣдовательно проведенный, составляетъ рѣшительно слабую сторону этой философіи. Его философія, вообще, есть философія нравственнаго обновленія личности въ сферѣ непосредственныхъ отношеній къ людямъ и чисто индивидуальнаго бытія, и здѣсь только проявляется присущій ему идеализмъ; но область общественныхъ формъ,

вопросовъ и идеаловъ въ своей самостоятельности изъ-емлется имъ изъ исторической философіи, и ея реализмъ дѣлается потому одностороннимъ, близкимъ къ натурализму, что, съ проповѣдью въ «Войнѣ и мирѣ» открытаго фатализма, весьма естественно должно было отталкивать отъ исторіософическихъ разсужденій гр. Толстого многихъ читателей и критиковъ.

III. Главные пункты исторической теоріи въ „Войнѣ и Мирѣ“.

Создавая свою историческую философію, гр. Толстой въ сущности говоритъ о цѣломъ переворотѣ въ исторической наукѣ: жалобы на современное состояніе исторіографіи и проекты реформы въ ней довольно часто встрѣчаются за послѣднія десятилѣтія, и притомъ не въ одной русской литературѣ; исходятъ они большею частью отъ не-спеціалистовъ, которымъ не всегда извѣстно дѣйствительное состояніе исторической науки въ наше время. «Война и миръ» не заключаетъ въ себѣ указаній на то, чтобы гр. Толстой изучалъ этотъ вопросъ и былъ знакомъ съ обширной литературой, посвященной именно рѣшенію историко-философскихъ вопросовъ, а потому многія возраженія, дѣлаемые имъ историкамъ, являются, по крайней мѣрѣ, запоздалыми, тогда какъ другія прямо обнаруживаютъ незнакомство съ тѣмъ, что дѣлается въ исторической наукѣ. Гр. Толстой составилъ себѣ нѣкоторое общее представленіе объ историкахъ, весьма для нихъ нелестное, и при каждомъ удобномъ случаѣ, отзывается о ихъ дѣятельности, какъ о чемъ-то смѣшномъ: «историки съ *наивною увѣренностью* говорятъ» то-то и то-то, (IV, 1),

«историки въ простотѣ душевной признають» то-то и то-то (VI, 248). Если вѣрить гр. Толстому, «всѣ описанія общихъ историковъ составлены изъ послѣдовательнаго ряда противорѣчій» (VI, 238); далѣе, «общіе историки не только противорѣчатъ частнымъ, но и сами себѣ» (VI 239), а всѣ исторіи культуры «наполнены хитросплетенными разсужденіями» (VI, 240), и, наконецъ, объясненія историковъ «могутъ годиться только для дѣтей въ самомъ нѣжномъ возрастѣ» (VI, 248). Или, напр., одна фраза начинается у него такими словами: «для насъ, потомковъ не-историковъ, не увлеченныхъ процессомъ изысканія и потому съ незатемненнымъ здравымъ смысломъ созерцающихъ исторію» (VI, 3), а въ другомъ мѣстѣ онъ усматриваетъ у историковъ привычку натягивать «факты на правила исторіи», оставляя себѣ какую-нибудь «лазейку, когда чтò не подходитъ подъ ихъ мѣрку» VI, 2); или же еще онъ представляетъ въ смѣшномъ видѣ занятія исторіей, говоря о «профессорѣ, смолоду занимающемся наукой, т. е. чтаніемъ книжекъ, лекцій и списываніемъ этихъ книжекъ и лекцій въ одну тетрадку» (VI, 153). Наконецъ, можно указать на мѣста гдѣ гр. Толстой изображаетъ, какъ историки обыкновенно разсказываютъ послѣдовательныя событія новаго времени (V, 3—4; VI, 151—152 и особенно 234—235): «напрасно,—говоритъ онъ въ заключеніе одного такого пересказа,—напрасно подумали бы, что это есть насмѣшка, карриатура историческихъ описаній. Напротивъ, это есть самое мягкое выраженіе тѣхъ противорѣчивыхъ и не отвѣчающихъ на вопросы отвѣтовъ, которые даетъ *вся* (подчеркнуто у самого гр. Толстого) исторія, отъ составителей мемуаровъ и исторій отдѣльныхъ государствъ до общихъ исторій и новыхъ исторій культуры. Странность и комизмъ этихъ отвѣ-

товъ вытекають изъ того, что новая исторія подобна глухому человѣку, отвѣчающему на вопросы, которыхъ ему ни кто не дѣлалъ»... «Если цѣль исторіи,—поясняетъ онъ,—есть описанія движенія человѣчества и народовъ, то первый вопросъ, безъ отвѣта на который все остальное непонятно,—слѣдующій: какая сила движетъ народами? На этотъ вопросъ новая исторія озабоченно рассказываетъ или то, что Наполеонъ былъ очень гениаленъ, или то, что Людовикъ XIV былъ очень гордъ, или же то, что такіе-то писатели написали такіе-то книжки» (V, 235—236). Словомъ, для гр. Толстого всѣ представители исторической науки—только «мнимо-философы-историки» (VI, 250). Выѣсто тѣхъ идей, которыя, по мнѣнію гр. Толстого, руководятъ всѣми историками, онъ ставитъ свои, исходя изъ того, что исторія должна имѣть свою теорію (VI, 231), которую онъ называетъ философіей исторіи (VI, 272). Такая теорія давнымъ-давно вырабатывается, но гр. Толстой какъ то это игнорируетъ.

Собственная теорія гр. Толстого страдаетъ, однако, неолнотою: мы видѣли, какой важный пробѣлъ въ ней существуетъ, какъ односторонне поставленъ ея главный вопросъ. Притомъ другой ея недостатокъ—въ отрывочности, въ необработанности: повидимому, гр. Толстой набрасывалъ свои мысли на бумагу въ періодъ ихъ броженія, когда у него не было опредѣленнаго плана разсужденія, не заботясь о формулировкѣ своихъ идей, чтобы онѣ были вполне понятны читателю и у него самого не вызвали возраженій и о точности употребляемыхъ понятій, объ устраненіи частныхъ противорѣчій. Другими словами, его историческая философія, какую мы встрѣчаемъ въ «Войнѣ и мирѣ», напоминаетъ написанные начерно отрывки изъ большого сочиненія.

нія, еще не получившаго своего плача, хотя послѣдній отрывокъ, самый больной, до нѣкоторой степени имѣетъ законченный характеръ. Поэтому строго ученая критика и не можетъ быть приложена къ историческимъ разсужденіямъ «Войны и мира»: они стоятъ внѣ такой критики по незнакомству автора съ современнымъ состояніемъ исторической и историко-философской литературы и по своему отрывочному, мало выработанному изложенію. Тѣмъ не менѣе они подлежатъ разбору, поскольку черезъ нихъ проходитъ нѣсколько общихъ идей, и, являясь съ запоздалыми возраженіями историкамъ, гр. Толстой въ то же время рекомендуетъ нѣкоторые приемы, которые далеко не могутъ быть названы новыми. Прогрессъ науки, по его словамъ, заключается въ переходѣ отъ взгляда на исторію, какъ на продуктъ дѣятельности нѣсколькихъ лицъ, ко взгляду на нее, какъ на произведеніе всѣхъ людей, иначе—къ дробленію причинъ явленій. «Тѣ новые приемы мышления, — говоритъ графъ Толстой, — которые должна усвоить себѣ исторія, вырабатываются одновременно съ самоуничтоженіемъ, къ которому, все дробя и дробя причины явленій, идетъ старая исторія» (VI, 286). Такой переворотъ, дѣйствительно, замѣчается въ развитіи исторіографіи съ давняго времени, и она вполне можетъ принять тезисъ гр. Толстого, что «движеніе человѣчества, вытекаая изъ *безчисленнаго* количества людскихъ произволовъ (т. е. актовъ воли), совершается *непрерывно*» (V, 2); если хотите даже, то новѣйшая исторіографія именно стремится понимать явленія, подлежащія ей вѣдѣнію, «только допуская безконечно малую единицу для наблюденія—дифференціалъ исторіи, т. е. однородныя влеченія людей, и достигая искусства интегрировать, т. е. брать суммы этихъ безконечно малыхъ» (V, 3).

Какъ же понимаетъ гр. Толстой задачу исторіи? Въ одномъ мѣстѣ цѣлью этой науки онъ называетъ «постиженіе *законовъ* движенія человѣчества» (V, 2); въ другомъ также говоритъ, что «задачу исторіи составляетъ уловить и опредѣлить *законы* движенія человѣчества» (VI, 286). Не разбирая пока этого мѣста по существу, такъ какъ выраженіе: «законы исторіи» — заключаетъ въ себѣ одно недоразумѣніе, съ которымъ мы встрѣтимся у самого гр. Толстого, при дальнѣйшемъ анализѣ его исторической философіи ¹⁾), — мы укажемъ на то, что и тутъ гр. Толстой не говоритъ историкамъ ничего новаго и напрасно обвиняетъ ихъ въ существующемъ игнорированіи ими относящихся сюда данныхъ изъ другихъ научныхъ областей. «Съ тѣхъ поръ, — говоритъ гр. Толстой, — какъ первый человѣкъ сказалъ и доказалъ, что количество рожденій или преступленій подчиняется математическимъ *законамъ*, или что географическія или политико-экономическія условія опредѣляютъ тотъ или другой образъ правленія, что извѣстныя отношенія къ землѣ производятъ движеніе народа, съ тѣхъ поръ *уничтожились въ сущности своей тѣ основанія, на которыхъ строилась исторія*. Можно было, опровергнувъ новые *законы*, удержать прежнее воззрѣніе на исторію, но, не опровергнувъ ихъ, *нельзя было, казалось, продолжать изучать историческія событія, какъ произведеніе свободной воли*. Ибо если установился такой-то образъ правленія или совершилось такое-то движеніе народа, вслѣдствіе такихъ-то географическихъ, этнографическихъ или экономическихъ условій, то воля тѣхъ лицъ, которыя представляются намъ установив-

¹⁾ Вообще о невѣрности самаго термина Осн. вопр. I, 17 и слѣд.

шими образъ правленія или возбуждившими движеніе народа, уже не можетъ быть разсматриваема, какъ причина. А между тѣмъ,—заключаетъ гр. Толстой,—*прежняя исторія продолжаетъ изучаться наравнѣ съ законами статистики, географіи, политической экономіи, сравнительной филологіи и геологіи, прямо противорѣчащими ея положеніямъ*» (VI, 287—288). Не разбирая здѣсь недоразумѣнія, вытекающаго изъ невѣрнаго примѣненія понятія о законѣ къ исторіи, можно указать на то, что исторіографія давнымъ-давно не ищетъ причины явленій въ свободной (въ смыслѣ безпричинности) волѣ и именно обращается къ изученію причинъ и условій географическихъ, этнографическихъ, политическихъ, экономическихъ и т. п.

Разумѣя подъ закономъ непостижимое отношеніе, существующее всегда между двумя опредѣленными явленіями (напр., спросомъ и предложеніемъ въ народномъ хозяйствѣ), что можно было бы однако назвать силою обстоятельствъ въ данную минуту,—гр. Толстой рекомендуетъ замѣнить вообще «отысканіе причинъ—отысканіемъ законовъ» (VI, 286 и 287), находя даже, что понятіе причины неприменимо въ исторіи (VI, 265): *«причинъ историческаго событія нѣтъ,—говорить онъ,—и не можетъ быть, кромѣ единовременной причины всѣхъ причинъ, но есть законы, управляющіе событіями, отчасти неизвѣстные, отчасти ощущаемые нами*» (V, 257). Этотъ странный тезисъ объясняется, повидимому, смѣшеніемъ понятій причины какъ совокупности условій, производшей явленія, и причины, какъ чего-то другого, напр., движущей силы; по крайней мѣрѣ, причинъ въ первомъ смыслѣ онъ не отрицаетъ, указывая, напр., на неисчислимость причинъ каждаго историческаго событія: *«чѣмъ больше,—говоритъ онъ,—мы углубляемся въ изы-*

сканіе причинъ, тѣмъ больше намъ ихъ отерывається, и всякая отдѣльно взятая причина или цѣлый рядъ причинъ представляются намъ одинаково справедливыми сами по себѣ и одинаково ложными по своей ничтожности въ сравненіи съ громадностью событія, и одинаково ложными по недействительности своей (безъ участія всѣхъ другихъ совпавшихъ причинъ) произвести совершившееся событіе» (IV, 3). Свою мысль гр. Толстой поясняетъ перечисленіемъ обыкновенно приводимыхъ причинъ войны 1812 г. съ такимъ заключеніемъ: «безъ одной изъ этихъ причинъ ничего не могло бы быть. Стало быть, причины всѣ эти—милліарды причинъ—совпали для того, чтобы произвести то, что было» (IV, 3—4). Мало того: гр. Толстой особенно напираетъ на то, что причина каждого историческаго факта есть въ сущности совпаденіе массы «милліона милліоновъ» мелкихъ причинъ, «только совпаденіе тѣхъ условій, при которыхъ совершается всякое жизненное, органическое, стихійное событіе» (IV, 5—6). Судя по другимъ мыслямъ гр. Толстого, онъ отрицаетъ причины не въ смыслѣ предшествующихъ фактовъ, порождавшихъ факты послѣдующіе, а въ смыслѣ движущихъ силъ, когда ихъ видятъ во власти, въ свободной волѣ, и т. п. Вопросъ: «какая сила движетъ народами?» (VI, 236) и есть главный, «первый» вопросъ его исторической философіи.

Мы указали на то, что гр. Толстой отрицаетъ объясненія историческихъ фактовъ, сводящія все къ дѣятельности нѣкоторыхъ только людей, и требуетъ, чтобы принимались въ расчетъ силы *всѣхъ*, безъ одного исключенія, *всѣхъ* людей, принимающихъ участіе въ событіи, ибо,—говоритъ онъ,—«единственное понятіе, посредствомъ котораго можетъ быть объяснено движеніе народовъ, есть понятіе силы, равной всему движенію.

Между тѣмъ, прибавляетъ онъ, подъ понятіемъ этимъ разумѣются различными историками совершенно различныя и всё неравныя видимому движенію силы» (VI, 243). На этомъ онъ также особенно настаиваетъ: «движеніе народовъ,—говоритъ онъ,—производитъ не власть, не умственная дѣятельность, даже не соединеніе того и другого, какъ то думали историки, а дѣятельность *всѣхъ* людей, принимающихъ участіе въ событіи» (VI, 264), и въ этомъ смыслѣ онъ говоритъ объ интегрированіи однородныхъ влеченій людей (V, 3), о «суммѣ произволовъ людей» (V, 2), о томъ, напр., что «сумма людскихъ произволовъ сдѣлала и революцію, и Наполеона, и только сумма этихъ произволовъ терпѣла ихъ и уничтожила» (V, 4). Вотъ что, т.-е. эта сумма, и есть движущая сила, равная всему движенію, и не въ иномъ какомъ-либо смыслѣ, а именно въ этомъ гр. Толстой считаетъ невозможнымъ примѣнять понятіе причины въ исторіи: «почему,—говоритъ онъ,—происходитъ война или революція? Мы не знаемъ; мы знаемъ только, что для совершенія того или другого дѣйствія люди складываются въ извѣстное соединеніе и участвуютъ всё; и мы говоримъ, что это такъ есть, потому что немислимо иначе, что это—*законъ*» (VI, 265). Другими словами, мысль гр. Толстого такова: движущая сила исторіи, какъ причина движенія, заключается въ суммѣ людскихъ произволовъ, а послѣдняя въ данный моментъ такова потому, что при данныхъ же обстоятельствахъ иная комбинація немислима, и эту-то силу вещей онъ называетъ закономъ, отступая самъ отъ совѣта «дробить причины», такъ какъ всё онъ тутъ замѣняется однимъ «закономъ». Самъ гр. Толстой не опредѣляетъ, въ какомъ значеніи понятіе причины въ примѣненіи къ исторіи имъ отрицается, и въ какомъ смыслѣ употребляетъ онъ слово «законъ». Добраться до его мысли

можно только путем сопоставленія отдѣльных мѣстъ «Войны и мира».

Неопредѣленность понятій, употребляемыхъ гр. Толстымъ, недостаточная выработка его философскаго языка — въ значительной степени затрудняютъ правильное, т.-е. согласное съ намѣреніями автора, пониманіе его идей. Встрѣчаясь, напр., съ утвержденіемъ, что въ исторіи понятіе причины непремѣнно, и съ мыслью о томъ, что историческое движеніе зависитъ отъ людскихъ произволовъ, можно было бы подумать, что гр. Толстой защищаетъ такой тезисъ: причинная связь въ историческихъ фактахъ невозможна, такъ какъ факты эти являются результатомъ дѣйствія людскихъ произволовъ. На дѣлѣ этого нѣтъ, но что такое произволь, онъ точно не опредѣляетъ; во всякомъ случаѣ, это не свободная воля въ смыслѣ безпричинности, и въ своемъ отрицаніи свободы воли гр. Толстой доходитъ даже, какъ мы увидимъ, до фатализма, исключаящаго всякій произволь лица по отношенію къ тому, что онъ называетъ законами. И опять эту идею свободы воли, въ разныхъ мѣстахъ, гр. Толстой толкуетъ различнымъ образомъ, то въ смыслѣ возможности «дѣйствія безъ причины» (VI, 269), то въ смыслѣ «возможности поступить такъ, какъ захотѣлось» (VI, 266), что далеко не одно и то же. Безпричинный поступокъ, дѣйствительно, невозможенъ, и въ этомъ смыслѣ свобода воли противорѣчитъ идеѣ необходимости, но изъ того, что каждый поступокъ имѣетъ причину и, слѣдовательно, происходитъ необходимо, отнюдь не слѣдуетъ, что люди поступаютъ не такъ, какъ имъ хочется, а какъ-то иначе. Впрочемъ, гр. Толстой въ сущности съ своимъ понятіемъ закона и приходитъ къ аналогичному заключенію: человѣкъ въ своихъ дѣйствіяхъ подчиненъ законамъ, которые, такъ сказать, ему дикту-

ють, что онъ долженъ дѣлать, а собственная воля его тутъ ни-при-чемъ. Если понимать произволъ въ смыслѣ свободы воли, какъ дѣйствія безъ причины, то исторія, какъ наука, въ самомъ дѣлѣ, невозможна; но гр. Толстой собственно отрицаетъ произволъ, какъ дѣйствіе по собственному изволенію, хотя бы и имѣющее причину. «Если,—говоритъ онъ,—воля каждаго человѣка была свободна, т.-е. *каждый могъ поступить такъ, какъ ему захотѣлось*, то вся исторія есть рядъ безсвязныхъ случайностей. Если даже одинъ человѣкъ изъ милліоновъ въ тысячелѣтній періодъ времени имѣлъ возможность поступить свободно, т.-е. *такъ, какъ ему захотѣлось*, то очевидно, что одинъ свободный поступокъ этого человѣка, *противный законамъ*, уничтожаетъ возможность существованія какихъ бы то ни было законовъ для всего человѣчества» (VI, 266). Выходитъ такъ, что возможность поступать по желанію, въ которой никто не станетъ сомнѣваться даже изъ самыхъ завязтыхъ противниковъ свободы воли, въ смыслѣ безпричинности, противорѣчитъ законамъ, т.-е., другими словами, человѣкъ дѣйствуетъ не такъ, какъ самъ хочетъ, а какъ его принуждаютъ поступать законы. Въ такомъ случаѣ, слово «произволъ» должно было бы быть совсѣмъ выкинуто изъ философскаго словаря гр. Толстого: произвола нѣтъ не только въ смыслѣ безпричинности, что вѣрно, но и въ смыслѣ изволенія, что ужъ совсѣмъ невѣрно.

Мы еще увидимъ, что именно гр. Толстой называетъ въ исторіи законами, а пока достаточно указанія на то, что, отрицая свободу воли, онъ понимаетъ эту свободу, имъ отрицаемую, не по отношенію къ формулѣ: «всякое дѣйствіе предполагаетъ извѣстную причину, какъ *достаточное основаніе*», — а по отношенію къ формулѣ: «всякое явленіе подходитъ подъ извѣст-

ный законъ, какъ подъ свое *правило*. Въ математикѣ и естествознаніи слово «законъ» имѣетъ именно такое значеніе, и гр. Толстой въ примѣненіи понятія этого къ человѣческому міру употребляетъ слово не иначе, когда говоритъ, напр., «что дѣйствія людей подлежатъ общимъ, неизмѣннымъ законамъ, выражаемымъ статистикой» (VI, 269). Дѣло въ томъ только, что можно сильно усомниться въ неизмѣнности статистическихъ законовъ: «количество рожденій или преступленій,—говоритъ гр. Толстой,—подчиняется математическимъ законамъ» (VI, 286), но развѣ оно остается неизмѣннымъ? Во-вторыхъ, отрицая свободу воли не во имя общаго принципа необходимости всего совершающагося, а во имя *такого* закона, какъ, напр., статистическое обобщеніе, гр. Толстой простой цифрѣ, выражающей постоянство извѣстныхъ явленій при извѣстныхъ условіяхъ, даетъ значеніе принудительной силы, дѣйствующей роковымъ образомъ на волю. Наконецъ, если въ естествознаніи и абстрактной части обществовѣднія всякій законъ формулируется такъ: «если дано то-то, то изъ этого произойдетъ то-то»,—то самъ гр. Толстой, говоря о законѣ въ исторіи, имѣетъ въ виду, въ сущности, нѣчто иное, а именно силу вещей, которой онъ хочетъ безъ остатка подчинить человѣческіе поступки. Мы это еще увидимъ, а теперь у насъ есть данныя для пониманія того, какъ это въ исторіи отысканіе причинъ должно замѣниться отысканіемъ законовъ: этотъ выводъ гр. Толстого основанъ на недоразумѣніи, на нѣкоторомъ смѣшеніи понятій, ибо подъ его законами скрываются *тутъ* тѣ же причины, и свободѣ дается опять новое толкованіе. «Въ исторіи,—говоритъ онъ,—то, что извѣстно намъ, мы называемъ законами необходимости (напр., пояснимъ мы, извѣстныя причины), а

то, что неизвѣстно,—свободой. *Свобода для исторіи есть только выраженіе неизвѣстнаго остатка отъ того, что мы знаемъ о законахъ жизни человека...* Для исторіи существуютъ линіи движенія человѣческихъ воль, одинъ конецъ которыхъ скрывается въ невѣдомомъ (т.-е., какъ хотѣлъ тутъ сказать гр. Толстой, — въ неизвѣстной намъ цѣпи причинъ и слѣдствій), а на другомъ которыхъ движется въ пространствѣ, во времени и въ зависимости отъ причинъ *сознаніе* свободы людей въ настоящемъ. Чѣмъ болѣе раздвигается передъ нашими глазами это поприще движенія (т.-е., по мысли гр. Толстого, чѣмъ большее количество времени мы охватываемъ знаніемъ), тѣмъ очевиднѣе законы (т.-е. причинная необходимость) этого движенія... Съ той точки зрѣнія, съ которой наука смотритъ теперь (!) на свой предметъ, по тому пути, по которому она идетъ, отыскивая причины явленій въ свободной волѣ людей (!), выраженіе законовъ для науки невозможно, ибо какъ бы мы ни ограничивали свободу людей (въ какомъ смыслѣ?), не подлежащую законамъ (не причинамъ ли?), существованіе закона невозможно. Только ограничивъ эту свободу до безконечности, т.-е. рассматривая ее, какъ безконечно малую величину, мы убѣдимся въ совершенной недоступности причинъ, и тогда, вмѣсто отысканія причинъ, исторія поставитъ своей задачей отысканіе законовъ (VI, 285—286), т.-е., какъ на самомъ дѣлѣ думаетъ гр. Толстой, будетъ искать причины явленій не въ актахъ личной воли, хотя бы и безпричинныхъ, а въ нѣкоторой, виѣ-лежащей, силѣ, которую онъ и отождествляетъ съ понятіемъ закона исторіи.

Этотъ анализъ идей гр. Толстого указываетъ, мы надѣемся, на то, до какой степени неопредѣлены упо-

требуемые имъ понятія, и въ то же время мы находимъ два главные пункта его исторической теоріи: по первому, сила, производящая движеніе народовъ и потому—что совершенно вѣрно—долженствующая быть равною производимому движенію, заключается въ суммѣ произволовъ всѣхъ безъ исключенія людей, участвующихъ въ движеніи; по второму же пункту, исторія должна заниматься отыскиваніемъ не причинъ, а законовъ. Первое положеніе направлено противъ воззрѣнія, приписывающаго историческое движеніе только нѣкоторымъ людямъ, второе—противъ взгляда, по которому въ исторіи дѣйствуетъ свободная воля людей. Въ такой формулировкѣ, собственно сдѣланной нами, историческая философія гр. Толстого, съ нашей стороны, не вызываетъ никакого возраженія, но, на самомъ дѣлѣ, изъ этихъ своихъ взглядовъ онъ дѣлаетъ выводы, съ коими нельзя согласиться.

Во-первыхъ, если исторію совершаетъ сумма людскихъ произволовъ, то является вопросъ: равны ли слагаемыя, образующія эту сумму, и если неравны, то какія это слагаемыя и насколько одни больше другихъ, что увеличиваетъ сумму и тѣмъ вліяетъ на самое историческое движеніе. На этотъ вопросъ гр. Толстой даетъ отвѣтъ совершенно неудовлетворительный, *отрицая роль личнаго элемента въ исторіи, сводя его къ нулю передъ массовой, или «роевой» силой.*

Во-вторыхъ, если воля несвободна, то возникаетъ вопросъ о томъ, чему она подчиняется, и въ какой степени нужно понимать ея подчиненіе дѣйствующимъ на нее факторамъ. И на этотъ вопросъ отвѣтъ гр. Толстого неудовлетворителенъ, потому что онъ *отрицаетъ въ исторіи личную инициативу, дѣлая изъ человека слепое орудіе силы вещей или рока, которые онъ возводитъ*

на степень закона, всецѣло подчиняющаго себѣ чловѣка и не позволяющаго ему вносить въ историческое движеніе ничто свое.

Въ самомъ дѣлѣ, вся историческая философія «Войны и мира» сводится къ отрицанію роли личности и личной инициативы въ исторіи: исторія для гр. Толстого есть массовое движеніе, совершающееся роковымъ образомъ, причемъ великіе люди являются только «ярлыками событій», т.-е. не имѣютъ никакого самостоятельнаго значенія, или слѣпыми орудіями рока, т.-е. рассматриваются, какъ лишенные собственной воли, хотя бы и имѣющей достаточныя основанія въ личныхъ отношеніяхъ. Въ дальнѣйшемъ мы будемъ не столько доказывать неосновательность такого взгляда, сколько доискиваться основной причины его образованія.

IV. Личность, свобода воли и „историческіе законы“.

На историческую теорію гр. Толстого, приведенную къ двумъ положеніямъ, на которыя мы указали, можно смотрѣть, какъ на реакцію противъ взглядовъ, черезчуръ выдвигавшихъ впередъ отдѣльное лицо на счетъ яко-бы только пассивной массы и придававшихъ слишкомъ большое значеніе личной инициативѣ въ сравненіи съ условіями, сообщающими общему ходу исторіи извѣстное направленіе. Но въ своей полемикѣ съ историками, которымъ всѣмъ вообще гр. Толстой приписываетъ оспариваемыя имъ возрѣнія, онъ зашелъ слишкомъ далеко, совершенно унизивъ историческую личность и ея инициативу, приписавъ все «роевой» силѣ массы и стихійному ходу исторіи, возведенному въ законъ. Дѣло, однако, не объясняется однимъ полемическимъ увлече-

ніемъ: теорія гр. Толстого находится въ тѣснѣйшей связи съ его отрицательнымъ отношеніемъ къ общественной дѣятельности, которая и есть одинъ изъ факторовъ исторіи, и предпочтеніемъ, оказываемымъ имъ дѣятельности безсознательной передъ сознательною дѣятельностью. Съ этой точки зрѣнія вся его теорія есть не что иное, какъ обоснованіе взгляда его относительно личнаго и сознательнаго участія въ общественныхъ и историческихъ дѣлахъ. Но тутъ и у него возникло внутреннее противорѣчіе, которое съ перваго взгляда не бросается въ глаза лишь потому, что оно замаскировано общимъ отношеніемъ гр. Толстого къ вопросу: Съ одной стороны, ему нужно было довести до minimum'a роль такъ-называемыхъ великихъ людей, и онъ лишаетъ ихъ всякой силы; съ другой, ему хотѣлось доказать, что эти люди совершенно несвободны въ своихъ дѣйствіяхъ, и онъ превращаетъ ихъ, людей этихъ, въ слѣпыхъ исполнителей велѣній исторіи, т.-е. видитъ въ нихъ главную силу, черезъ которую историческій рокъ выполняетъ свои рѣшенія; въ первомъ случаѣ въ исторіи дѣлается все само собою, и выдающіяся единицы суть только «ярлыки событій»; во второмъ—черезъ нихъ-то «законъ» и оперируетъ въ исторической жизни. Это противорѣчіе не случайно: смотря по тому, передъ чѣмъ гр. Толстой хочетъ принизить отдѣльную личность,—передъ массой ли, состоящей изъ личностей же, или передъ безличнымъ «закономъ»,—онъ и создаетъ то или другое представленіе объ историческихъ дѣятеляхъ, и оба представленія становятся въ рѣзкое противорѣчіе. Разберемъ теперь оба пункта исторической теоріи «Войны и мира» по-одиночкѣ.

Изъ участія въ историческомъ движеніи *есть* еще не слѣдуетъ, что *есть* въ немъ дѣйствуютъ одинаково и

въ количественномъ, и въ качественномъ отношеніяхъ, т.-е. «сумма людскихъ произволовъ», двигающая исторіей, состоитъ изъ далеко неравныхъ слагаемыхъ. На основаніи этого принципа можно было бы создать цѣлую классификацію индивидуумовъ по ихъ активному отношенію къ исторической жизни въ смыслъ и количества дѣйствія, и его качества, т.-е., главнымъ образомъ, сознательности или безсознательности. На этотъ счетъ у гр. Толстого нѣтъ твердаго взгляда: онъ то игнорируетъ разновеликость силъ, участвующихъ въ исторіи, то становится на точку зрѣнія противоположную. «Такой же причиной (войны 1812 г.),—говоритъ онъ,—какъ отказъ Наполеона отвести свои войска за Вислу и отдать назадъ герцогство ольденбургское, представляется намъ и желаніе или нежеланіе перваго французскаго капрала поступить на вторичную службу»,—въ этихъ словахъ гр. Толстого произволъ императора французовъ и произволъ капрала его арміи ставятся на одну доску, какъ равновеликія силы; но въ развитіи своей мысли авторъ «Войны и мира» невольно измѣняетъ самому себѣ: «ибо,—продолжаетъ онъ,—ежели бы онъ (т.-е. капралъ) не захотѣлъ идти на службу, и не захотѣлъ бы и другой, и третій, и тысячный капралъ и солдаты, настолько менѣе было бы солдатъ въ войскѣ Наполеона, и войны не могло бы быть. Ежели бы *Наполеонъ* не оскорбился требованіемъ отступить за Вислу и не велѣлъ наступать войскамъ, не было бы войны; но ежели бы *все сержанты* не желали поступать на вторичную службу, тоже войны не могло бы быть» (IV, 3). Тутъ, такимъ образомъ, уже произволу *одного* противопоставляется произволъ *многихъ*, и этимъ одно слагаемое «суммы произволовъ» признается за нѣчто большее всѣхъ другихъ, причемъ гр. Толстой еще упускаетъ изъ виду,

что Наполеонъ не зависѣлъ ни отъ кого въ рѣшеніи вопроса, а сержанты, капралы и солдаты люди были подневольные. Отсюда можно было бы вывести заключеніе, что гр. Толстой признаетъ за такимъ лицомъ, какимъ былъ Наполеонъ, особую силу, какой лишены другіе люди, не прибѣгая къ гипотезѣ, которая дѣлала бы этого человѣка сверхъестественнымъ въ томъ или другомъ смыслѣ существомъ; но гр. Толстой не только этого не дѣлаетъ, но выставляетъ тезисъ діаметрально противоположный. По его мнѣнію, вліятельные люди въ обществѣ наименѣе участвуютъ въ событіи и наиболѣе находятъ въ зависимости отъ событія, совершающагося яко-бы по ихъ волѣ.

Было бы слишкомъ долго говорить о разсужденіяхъ, приведшихъ гр. Толстого къ этому выводу. Сущность ихъ сводится къ слѣдующему. Во-первыхъ, чѣмъ болѣе человѣкъ приказываетъ въ какомъ-нибудь совокупномъ дѣйствіи, тѣмъ менѣе онъ непосредственно дѣйствуетъ (VI, 259 и слѣд.); но гр. Толстой забываетъ, что само приказываніе есть уже дѣйствіе, безъ котораго не могло бы быть и совокупной дѣятельности. Во-вторыхъ, приказаніе исполняется только тогда, когда оно можетъ быть исполнено (VI, 255 и слѣд.), чѣмъ и доказывается у автора зависимость приказанія отъ событія (VI, 264); но при этомъ забывается, что одна выполнимость совокупнаго дѣйствія не влечетъ за собою его выполненія, если оно кѣмъ-нибудь не задумано, не посовѣтовано, не приказано. Въ этихъ разсужденіяхъ гр. Толстого заключается косвеннымъ образомъ какъ бы такой совѣтъ людямъ общественной дѣятельности: всѣ занимающіеся придумываніемъ образа дѣйствій для другихъ, подаваніемъ совѣтовъ, приказываніемъ, только воображаютъ, что нѣ что дѣлаютъ; все въ обществѣ дѣлается само собою, и

наши предположенія, совѣты, повелѣнія только тогда оправдываются, когда то, что представляется совершающимся въ силу этихъ предположеній, совѣтовъ, повелѣній, само собою совершается въ томъ же направленіи, а потому общественная дѣятельность есть только самообманъ, потому что приказаніе не можетъ быть причиною событія. «Какъ скоро,—говоритъ гр. Толстой,—совершится событіе,—какое бы то ни было,—то изъ числа всѣхъ непрерывно выражаемыхъ волей различныхъ лицъ найдутся такія, которыя, по смыслу и по времени, отнесутся къ событію, какъ приказанія» (IV, 264); но, въ сущности, по его мысли, приказаніе и всякій иной способъ направлять дѣятельность другихъ людей вовсе не причины событія. Конечно, исполнимость приказанія зависитъ отъ обстоятельствъ, лежащихъ внѣ приказывающаго, но изъ этого не слѣдуетъ, что послѣдній въ событіи ровно ни-при-чемъ. Конечно, видимое подчиненіе массъ какой-либо личности, будетъ ли это Лютеръ, или Наполеонъ, возможно лишь тогда, когда въ массахъ есть данныя для того, чтобы подчиниться ея вліянію; но изъ этого не слѣдуетъ, что личность не вноситъ рѣшительно ничего своего въ событіе, связанное съ ея дѣятельностью. Между тѣмъ, по гр. Толстому, «въ историческихъ событіяхъ такъ-называемые великіе люди *суть ярлыки*, дающіе наименованіе событію, которое такъже, какъ ярлыки, *меньше всего имѣетъ связи съ самимъ событіемъ*» (VI, 7). Слѣдовательно, отказъ Наполеона отъ похода въ Россію ничего не значилъ бы? Такъ выходитъ. Въ другомъ мѣстѣ онъ поясняетъ свою мысль еще болѣе образно: «когда, говоритъ онъ, корабль идетъ по одному направленію, то впереди его находится одна и таже струя; когда онъ часто перемѣняетъ направленіе, то часто перемѣняются и бѣгущія впереди его струи. Но

куда бы онъ ни повернулся, вездѣ будетъ струя, предшествующая его движенію... Куда бы ни направлялся корабль, струя, не руководя, не усиливая его движенія, бурлитъ *впереди его и будетъ издали представляться намъ не только произвольно движущейся, но и руководящей движеніемъ корабля*» (VI, 264). Этими сравненіями историческихъ дѣятелей съ ярыками, съ бурлящими струями, общественная дѣятельность объявляется чѣмъ-то призрачнымъ, излишнимъ, ненужнымъ для того, чтобы дѣлалась исторія, — возрѣніе, которое могло образоваться только на почвѣ вышеуказаннаго непониманія соціологической стороны исторіи, при индифферентизмѣ къ общественнымъ вопросамъ. Реалистическая тенденція гр. Толстого заставила его снять великихъ людей съ героическаго пьедестала, превратить ихъ изъ полубоговъ въ обыкновенныхъ смертныхъ, но тутъ они перестаютъ даже быть людьми, выключаются изъ тѣхъ «всѣхъ», которые дѣлаютъ исторію, чтобы стать какими-то призраками въ человѣческомъ образѣ. А между тѣмъ самъ же онъ выдѣляетъ историческія лица изъ массы, указывая, напр., на то, что, «чѣмъ выше стоитъ человѣкъ на общественной лѣстницѣ, чѣмъ съ большими людьми (=большимъ количествомъ людей) онъ связанъ, — тѣмъ больше власти онъ имѣетъ на другихъ людей» (=надъ другими людьми, (IV, 5); — или на то, что эти лица берутъ на себя оправданіе имѣющаго совершиться и тѣмъ создаютъ себѣ положеніе (VI, 158, 160, 161, 262).

Но допустимъ, что все это такъ; допустимъ, что приказываніе, въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, тогда только представляется причиною событія, когда, по словамъ гр. Толстого, оно соотвѣтствуетъ событію; уже одно существованіе людей, настолько прозорливыхъ

въ общественныхъ дѣлахъ, что предположенія, совѣты, повелѣнія этихъ людей оказываются сами собою сбывшимися, дозволяетъ говорить о ихъ геніальности: пусть они въ движеніи ничто, какъ дѣтели, — по крайней мѣрѣ, они обнаруживаютъ пониманіе безъ нихъ дѣлающихся событій. Гр. Толстой не допускаетъ и геніальности (VI, 155 и слѣд.). Правда, мы слышимъ тутъ протестъ противъ героическихъ воззрѣній, дѣлавшихъ изъ геніевъ сверхъестественные феномены (VI, 245—246), но еще больше тутъ просто непониманія общественной дѣятельности и роли ея представителей въ исторіи. «Слово это (т.-е. геній),—говоритъ гр. Толстой,—не обозначаетъ ничего дѣйствительно существующаго и потому не можетъ быть опредѣлено. Слово это обозначаетъ только извѣстную степень пониманія явленій... Я вижу силу, производящую несоразмѣрное съ общечеловѣческими свойствами дѣйствіе, *не понимаю*, почему это происходитъ, и говорю: *геній*» (VI, 156). Гордіевъ узелъ загадки гр. Толстой не распутываетъ, а разрубаетъ: мнѣ непонятна «сила производящая несоразмѣрное съ общечеловѣческими свойствами дѣйствіе», вообще сила одного человѣка, и я говорю, что тутъ нѣтъ никакой даже силы, что это призракъ, простой ярлыкъ событія, бурлящая струя, только кажущаяся руководительницей корабля. Можно и должно реалистически относиться къ «героямъ», не идеализируя ихъ изъ людей въ полубоговъ; но неумѣніе понять, въ чемъ ихъ реальная сила, не даетъ права превращать ихъ въ призраки, облеченные въ человѣческій образъ.

Гр. Толстой совершенно основательно борется съ старымъ воззрѣніемъ, по которому дѣятельность цѣлаго народа вмѣщается безъ остатка въ дѣятельности единичныхъ людей (VI, 231 и слѣд.), ибо, какъ онъ гово-

рить, «для того, чтобы найти составляющія силы, равныя составной или равнодѣйствующей, необходимо, чтобы сумма составляющихъ равнялась составной» (VI. 238); но если, по его словамъ, исторію дѣлаютъ *все*, то въ числѣ этихъ «*всѣхъ*» находятся и тѣ самые люди, которымъ онъ приписываетъ чисто призрачную роль въ своей теоріи, хотя ему и *кажется*, что имъ принадлежитъ особая сила. Между прочимъ, послѣдняя заключается въ томъ, что они являются носителями тѣхъ или другихъ общественныхъ идей; но гр. Толстой предпринимаетъ вопросъ о роли идей въ исторіи, напр., въ словахъ: «какая-то неопредѣлимая сила, называемая идеей» (VI, 240). Все идейное какъ-то не дается въ исторіи гр. Толстому, не даромъ же онъ и въ поэзіи особенный мастеръ въ анализѣ бессознательныхъ психическихъ процессовъ, господствующихъ подчасъ надъ яснымъ голосомъ сознанія, а общественная дѣятельность единицъ какъ разъ и руководится идеями. Весьма поэтому существенно, что гр. Толстой уничтожить въ своей исторической философіи и личную инициативу, предполагающую сознательную дѣятельность, — уничтожить во имя той же бессознательно-стихійной стороны исторіи, къ которой сведетъ все, и которую объявить «закономъ».

Личная инициатива есть освобожденіе отъ рутины, господствующей, какъ законъ, именно въ массовой жизни, освобожденіе отъ дѣятельности, направляемой исключительно однимъ стихійнымъ ходомъ исторіи ¹⁾. Общественная рутина, стихійный ходъ исторіи — суть силы роковыя, которыя держатъ въ оковахъ людей, лишенныхъ собственной инициативы, и эти-то силы гр.

¹⁾ „Осн. вопр. фил. ист.“, *разгит.*

Толстой называет законами, безраздѣльно господствующими надъ личной волей. Его не даромъ критика объявила фаталистомъ; историческая философія «Войны и мира» фаталистична, и, что особенно интересно, гр. Толстой видитъ, какъ мы упоминали, главныя орудія фатума именно въ тѣхъ лицахъ, которыя, по его же словамъ, наименѣе участвуютъ въ событіяхъ: призраки—въ роли исполнителей вѣстнѣй судьбы! Можетъ ли быть большее противорѣчіе?

По словамъ самого гр. Толстого, «фатализмъ въ исторіи неизбеженъ для объясненія неразумныхъ явленій» (IV, 4), а разумности-то онъ и не допускаетъ въ исторіи, ибо, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, «если допустить, что жизнь человѣческая можетъ управляться разумомъ, то уничтожится возможность жизни» (VI, 155). Въ чемъ же заключается фатализмъ гр. Толстого? А вотъ въ чемъ: во-первыхъ, дѣйствія историческихъ лицъ, превращающихся тутъ въ дѣятелей исторіи, объявляются «непроизвольными», т.-е. подчиненными какой-то непреодолимой силѣ; во-вторыхъ, на этихъ лицахъ лежитъ печать предназначенія. «Каждое дѣйствіе ихъ,—говоритъ гр. Толстой въ одномъ мѣстѣ,—кажущееся имъ произвольнымъ для самихъ себя, въ историческомъ смыслѣ *не произвольно*, а находится въ связи со всѣмъ ходомъ исторіи и *опредѣлено предвѣчно*» (IV, 7). Въ другомъ мѣстѣ, разсуждая о роли Наполеона и Александра I въ событіяхъ начала XIX-го в., онъ находитъ, что «невозможно придумать двухъ другихъ людей, со всѣмъ ихъ прошедшимъ, которое соответствовало бы до такой степени, до такихъ мельчайшихъ подробностей *тому назначенію, которое имъ предлежало исполнить*» (VI, 157). Или, напр., онъ прямо утверждаетъ, что походъ Наполеона на Россію совершился не потому, что Наполеонъ захо-

тѣмъ этого, а потому, что такъ должно было совершиться (V, 256). Правда, у гр. Толстого есть мѣста, гдѣ онъ выступаетъ, какъ провиденціалистъ, когда говоритъ о Богѣ, но его Богъ есть Богъ безъ провидѣнія, и провиденціалистическія выраженія заключаютъ въ себѣ фаталистическое содержаніе, ибо провиденціализмъ стараются проникнуть въ разумность плана исторіи. Правда, съ другой стороны, гр. Толстой, отрицая возможность безпричиннаго дѣйствія воли, какъ будто является только детерминистомъ, но это лишь частность, не нарушающая общей фаталистической концепціи его исторической философіи. Формула фатализма такова: имѣющее случиться—случится, какъ бы мы не старались этому воспрепятствовать;—и *необходимость* всего совершающагося въ исторіи гр. Толстой понимаетъ вовсе не въ томъ смыслѣ, что все въ исторіи имѣетъ *достаточныя основанія* для того, чтобы быть, т.-е. не въ смыслѣ *причинности* (походъ Наполеона на Россію вызванъ массою причинъ), а въ смыслѣ *непреодолимости* или *непредотвратимости*, чему быть—тому не миновать, ибо онъ совсѣмъ устраняетъ значеніе сознательнаго расчета, основаннаго на сознательномъ отношеніи къ окружающему, и основанной на этомъ расчетѣ общественной дѣятельности, которая именно въ той или другой формѣ борется со стихійною силою вещей. Эта сила вещей, сама собою движущаяся впередъ, и есть то непреодолимое, непредотвратимое, которое гр. Толстой называетъ закономъ или законами исторіи, и если, какъ мы видѣли, онъ толкуетъ не-свободу воли въ детерминистическомъ смыслѣ, не допуская безпричинныхъ дѣйствій, то въ понятіи произвольности, невозможности поступить такъ, какъ захотѣлось, скрывается фаталистическій

смыслъ полнаго подчиненія воли принудительно дѣйствующему закону.

О не-свободѣ воли,—съ той точки зрѣнія, что не можетъ быть дѣйствія безъ причины, а потому воля не можетъ быть свободна, т.-е. дѣйствовать безъ достаточныхъ основаній, для которыхъ должны быть свои основанія, и такъ далѣе до безконечности,—писали многіе мыслители, часто аргументируя совершенно различно каждый *). У гр. Толстого на этотъ счетъ есть своя аргументація и при томъ весьма оригинальная (VI, 266), и еслибы все дѣло заключалось только въ ней, упрека въ фатализмъ ему никто не сдѣлалъ бы: онъ только особеннымъ образомъ развиваетъ мысль, что нѣтъ дѣйствія безъ причины. Сущность его аргументаціи слѣдующая: онъ беретъ, между прочимъ, вопросъ съ точки зрѣнія *представленія* о проявленіи этой воли въ прошедшемъ и въ извѣстныхъ условіяхъ, и, по его словамъ, каждое событіе *представляется* частью свободнымъ, частью необходимымъ (VI, 271), причемъ доля свободы и доля необходимости *представляются* намъ въ отношеніи обратно пропорціональнымъ. Дѣйствіе *представляется* тѣмъ менѣе свободнымъ, чѣмъ лучше мы знаемъ отношеніе человѣка ко всему окружающему, чѣмъ въ большемъ періодѣ времени разсматриваемъ его дѣятельность, чѣмъ очевиднѣе намъ причины поступка, и наоборотъ. Полной свободы мы не можемъ себѣ, однако, *представить*, ибо для этого пришлось бы мыслить человѣка внѣ пространства, времени и причинности, а съ другой стороны, мы не въ состояніи *представить* себѣ полной необходимости даннаго факта, ибо это предполагало бы знаніе всѣхъ пространственныхъ условій въ

*) Тамъ же I, 36 и слѣд.

какія поставленъ извѣстный человѣкъ, удлинненіе до безконечности періода времени между совершеннымъ поступкомъ и сужденіемъ о немъ и опредѣленіе всей цѣпи причинъ какого бы то ни было поступка, которая также безконечна (VI, 282). Изъ этого разсужденія, представленнаго здѣсь въ голомъ оствѣ и вытекаетъ извѣстное намъ опредѣленіе свободы, какъ выраженія неизвѣстнаго остатка отъ того, что мы можемъ знать о необходимости, т.-е. мы *представляемъ* себѣ поступокъ свободнымъ или неизвѣстнымъ достаточнаго основанія, когда не знаемъ его причинъ. Въ этомъ отношеніи заключительныя слова «Войны и мира»; «необходимо отказать отъ несуществующей свободы (т.-е. возможности безпричинно дѣйствовать) и признать неощущаемую нами зависимость» (отъ рядовъ причинъ, опредѣляющихъ акты нашей воли),—содержать въ себѣ неоспоримую истину, какъ также вѣрно и то, что, вслѣдствіе невозможности знать всѣ причины, нельзя представить себѣ жизнь и исторію безъ свободы, т.-е. безъ неизвѣстнаго остатка отъ того, что мы можемъ знать о необходимости. И еще такое соображеніе мы находимъ у гр. Толстого: «представленіе о дѣйствіи человѣка, подлежащемъ одному закону необходимости, безъ малѣйшаго остатка свободы, невозможно»,—говоритъ онъ (VI, 282). Но въ такомъ случаѣ, въ какомъ же отношеніи стоятъ эти слова гр. Толстого съ его фаталистическимъ возрѣніемъ на исторію? Дѣло въ томъ, что его фатализмъ покоится вовсе не на этой аргументаціи относительно невозможности свободы воли въ смыслѣ ея безпричинности,—хотя мы и *представляемъ* себѣ свободу, когда не знаемъ причинъ,—а на совершенно иномъ рядѣ мыслей. Гр. Толстой смѣшиваетъ не-свободу воли въ томъ значеніи, что воля не можетъ дѣйствовать безпричинно, съ ея

не-свободой въ значеніи полной ея зависимости отъ чего-то непреодолимаго, что онъ называетъ историческимъ закономъ; тутъ уже рѣчь идетъ не о томъ, что «такъ», т.-е. безпричинно, ничего не дѣлается, а о безсиліи личности передъ рокомъ. И весьма замѣчательно, что именно лишь въ жизни исторической, «роевой» или стихійной онъ видитъ только одно неизбѣжное выполненіе «предписаннаго закона», тогда какъ въ жизни личной, которую онъ называетъ «настоящею», онъ допускаетъ наибольшую свободу (IV, 5), конечно, уже не въ томъ смыслѣ, чтобы тутъ возможны были поступки безъ достаточнаго основанія; опять является на сцену противоположеніе частной жизни и общественной дѣятельности, и теперь съ указаніемъ еще на то, что въ первой—человѣкъ можетъ найти свободу, а во второй—только тяжелое рабство. Но разъ гр. Толстой объявилъ, что общественная дѣятельность пуста, какъ наименьшее участіе въ событіи, и жалка, какъ нѣчто не-свободное, мы были бы въ правѣ ожидать, что онъ, по крайней мѣрѣ, объявитъ ее наименѣе отвѣтственной, тогда какъ именно эти-то ярлыки событій и орудія рока онъ вдобавокъ дѣлаетъ наиболѣе отвѣтственными (VI, 264—265). Послѣ этихъ разъясненій мы можемъ теперь посмотрѣть въ самый корень его фатализма, въ его идею о не-свободѣ воли, которая вовсе не вытекаетъ изъ детерминизма.

Понятіе свободы есть понятіе отрицательное: свобода есть всегда независимость отъ чего-либо. Воля не свободна, потому что зависитъ отъ своей причины, такъ какъ нѣтъ дѣйствія безъ причины, но воля можетъ быть свободна отъ многого другого и притомъ свободна въ разныхъ степеняхъ. Гр. Толстой, указывая на невозможность свободы воли отъ условій пространства, вре-

мѣни и отъ причинности, упускаетъ изъ виду возможность относительной и сравнительной свободы воли въ иныхъ смыслахъ: напр., воля человѣка сравнительно свободнѣе воли животныхъ и свободнѣе именно относительно непосредственнаго—чувственнаго мотива поступковъ. Храбрый человѣкъ свободнѣе въ своихъ поступкахъ при видѣ опасности, чѣмъ трусъ. Развитого человѣка не вернуть съ дороги встрѣча зайца, а для суетвѣра это будетъ достаточное основаніе вернуться, и т. п. Эта относительная и сравнительная свобода, не устраняя ни малѣйшимъ образомъ необходимости дѣйствія мотивовъ, такъ какъ дѣятельность безъ мотивовъ была бы сплошнымъ чудомъ, измѣняетъ только способъ мотивировки: у человѣка этихъ способовъ гораздо больше, чѣмъ у животныхъ; у него есть возможность бѣльшаго выбора, но въ этомъ смыслѣ и не всѣ люди одинаково свободны. Графъ Толстой игнорируетъ это важное условіе: тотъ, кто можетъ дѣйствовать только по одному мотиву, несвободнѣе того, кто хотя и не безпричинно, можетъ выбирать изъ многихъ. Фатализмъ въ исторіи и заключается въ признаніи для воли историческаго дѣятеля только *одного* мотива, съ исключеніемъ возможности иныхъ. Извѣстная рутина опредѣляетъ дѣйствія людей, но это не значитъ, что отдѣльныя личности не могутъ освободиться отъ рутины, чтобы подчиняться дѣйствию иныхъ мотивовъ. Принятое исторіей направленіе, увлекаетъ дѣятельность людей по-этому направленію, но это еще не значитъ, что поступки отдѣльныхъ личностей не могутъ мотивироваться, такъ сказать, «противъ теченія». Между тѣмъ рутина, т.-е. однообразное для всѣхъ мотивированіе воли, которое даетъ начало «роевой» силѣ, и стихійное теченіе исторіи, отсюда происходящее, гр. Толстой возводитъ на степень

закона, который *одинъ* и управляетъ будто бы волей людей съ такой принудительной силой, что возможность всякаго иного мотивированія этимъ устраняется. Но ни рутина, отъ которой можетъ освободиться личность, достигшая навѣстной степени духовнаго развитія, ни принятое исторіей направленіе, съ которымъ люди собственной инициативы могутъ стать въ-разрѣзъ, не суть законы въ научномъ смыслѣ; это только случаи однообразной и однородной рѣшимости воли, не исключающіе возможности, при иныхъ условіяхъ, — напр., при особыхъ условіяхъ, въ какихъ могутъ находиться нѣкоторыя личности въ сравненіи со всѣми остальными, — и иной рѣшимости. Законъ есть выраженіе необходимыхъ, а потому постоянныхъ, отношеній между извѣстными причинами, и ихъ слѣдствіями, и воля абсолютно подчиняется этимъ отношеніямъ, ибо иначе было бы нарушеніе необходимаго отношенія между причиной и слѣдствіемъ, т.-е. изъ данной причины вытекало бы не то слѣдствіе, которое изъ нея должно произойти, — напр., дважды-два могло бы быть и пять, и восемь, и десять и т. д.; но нельзя назвать закономъ простое эмпирическое обобщеніе фактовъ, говорящее только, что въ данномъ обществѣ наблюдаются такіа-то явленія; если они наблюдаются, для этого есть достаточныя основанія; послѣднія, однако, непостоянны, во-первыхъ, потому, что у нѣкоторыхъ людей могутъ быть иныя достаточныя основанія, и ихъ дѣятельность будетъ представлять собою исключеніе изъ общаго правила, а во-вторыхъ, потому, что эти основанія и по отношенію ко всѣмъ членамъ общества измѣняются современемъ въ другія *). Если французы шли въ армію Наполеона, на это были свои причины,

*) Тамъ же, I, 89.

и поступленіе каждого солдата въ войско мотивировалось, такъ или иначе для каждого солдата сложившимися причинами, но, по теоріи гр. Толстого, вышло бы, что въ армію Наполеона толкали французовъ какой-то непреодолимый рокъ, не оставлявшій имъ никакого выбора, напримѣръ, между уклоненіемъ отъ конскрипціи, членовредительствомъ, дезертирствомъ, самоубійствомъ и т. п. Или, напримѣръ, гр. Толстой ссылается на повторяемость цифры преступленій въ данномъ обществѣ: каждое преступленіе имѣетъ свои индивидуальныя причины, и если цифра преступленій остается до извѣстной степени постоянной, то это зависитъ отъ того, что приблизительно, одинаковое количество людей, при данныхъ условіяхъ общества, ставится въ одинаковое положеніе, но это не значитъ, что цифра есть какой-то законъ, непосредственно дѣйствующій на индивидуальныя воли и заставляющій ихъ подвигаться на преступленія, чтобы непременно, при какихъ бы-то ни было условіяхъ, было совершено требуемое «закономъ» количество преступленій. Гр. Толстой возводитъ въ законъ и рутину, т. е. однообразное мотивированіе воли, и ей подчиняетъ личность, тѣмъ самымъ отрицая возможность личной инициативы; онъ возводитъ въ законъ стихійное теченіе исторіи, т. е. мотивированіе воли, заключающееся въ увлеченіи общимъ потокомъ, отрицая возможность независимаго отъ этой стихійной силы поведенія личности. Словомъ, онъ не признаетъ возможности относительной свободы воли, т. е. не абсолютной свободы отъ причинности вообще, а именно свободы относительной отъ данныхъ, конечно, дѣйствующихъ въ исторіи силъ, которымъ онъ придаетъ значеніе закона, «его же не преjdeши». Конечно, рутина есть сила, но сила же есть и личная инициатива, и обѣ имѣютъ свои причины. Рав-

нымъ образомъ, стихійность исторіи есть сила, но въ исторіи силу составляетъ и руководимое сознаниѣмъ самостоятельное отношеніе отдѣльныхъ личностей къ данному ходу исторіи, и обѣ эти силы опять-таки имѣютъ свои причины. Въ исторіи ведется борьба между не-свободой, въ какой удерживаетъ волю рутина, пассивное подчиненіе образовавшемуся теченію, и свободой, выражающейся въ личной инициативѣ, въ самостоятельномъ отношеніи къ данному ходу исторіи. Гр. Толстой не видитъ этой борьбы и не видитъ потому, что въ ней заключается социологическая сторона исторіи, что изъ нея и состоитъ общественная дѣятельность, какъ внесеніе въ жизнь личной инициативы, какъ стремленіе къ самостоятельному вмѣшательству въ стихійный процессъ исторіи. Общественный дѣятель немислимъ безъ инициативы, безъ самостоятельнаго отношенія ко всему совершающемуся вокругъ, а между тѣмъ его-то гр. Толстой и считаетъ наименѣе свободнымъ: великій человѣкъ, по его мнѣнію, есть только орудіе рока, введеннаго въ принудительный законъ. Гр. Толстой, эмпирически обобщивъ факты движенія людей съ запада на востокъ (VI, 157), выдаетъ это обобщеніе за законъ, а всю дѣятельность Наполеона рассматриваетъ, какъ подневольное выполненіе этого закона: Наполеонъ такъ же, по исторической философіи гр. Толстого, исполнялъ велѣніе рока, служа ему въ качествѣ слѣпому орудію, какъ человѣкъ, совершающій преступленіе, совершаетъ его, яко-бы во исполненіе закона статистики, повелѣвающаго, чтобы непременно общество поставило извѣстное количество убійцъ или грабителей. По плану исторіи, хотя его и отвергаетъ гр. Толстой, нужно было, чтобы французы пришли въ 1812 г. убивать русскихъ мужиковъ смоленской и московской губерній, и потому явился На-

полеонъ, который повелъ туда французъ: онъ только исполнять предписанный ему законъ. По закону, управляющему обществомъ, нужно, чтобы въ немъ было совершено столько-то грабежей, и потому такой-то напасть на денежную почту, такой-то стащить шубу съ запоздалаго прохожаго: всё они только исполняли предписанные обществу законы. То-есть, по гр. Толстому, воля Наполеона была подчинена только одному бессознательному стремленію выполнить предписанный ему исторіей законъ: иныхъ мотивовъ въ дѣйствительности у него не было, между чѣмъ онъ могъ бы выбирать, никакія реальные причины на него не дѣйствовали,—онъ только выполнялъ законъ.

Ходъ исторіи фаталенъ; сила вещей непреодолима; чему быть, тому не миновать, какъ бы ни старались предотвратить то или другое; все происходитъ по закону, противиться которому бессмысленно, а общественная дѣятельность и есть именно устройство общественныхъ дѣлъ не такъ, какъ создаетъ «законъ» исторіи,—слѣдовательно, не противясь стихійному теченію исторіи, замкнись въ сферу личной жизни, которая есть и настоящая жизнь, и жизнь свободная, потому что тутъ человѣкъ свободенъ отъ выполненія предписаннаго ему исторіей закона. Вотъ окончательный совѣтъ, который даетъ гр. Толстой своею историческою философіей: его фатализмъ, вытекаая изъ неправильнаго примѣненія къ исторіи научнаго понятія закона и философскаго ученія о невозможности абсолютной свободы воли, служить въ тоже время теоретическимъ оправданіемъ соціального индифферентизма автора «Войны и мира», индифферентизма къ общественнымъ формамъ и всякой дѣятельности, ихъ поддерживающей и реформирующей.

Общій приговоръ объ исторической философіи «Войны и мира» можно формулировать слѣдующимъ образомъ. Гр. Толстой реалистическую тенденцію своей поэзіи переноситъ въ область исторіи и исторической философіи, устраняя изъ нихъ идеализацію и идеологію; но тамъ, гдѣ у него рѣчь идетъ о жизни общественной, а не личной, его покидаетъ идеализмъ, который онъ умѣетъ сочетать со своимъ реализмомъ. Его идеализмъ чисто этический, идеализмъ, такъ сказать, праведнаго житія, но не идеализмъ социальный, не идеализмъ правильныхъ *формъ* общежитія внѣ того, что предписывается личною этикой. Эта односторонность его міросозерцанія коренится въ какомъ-то непониманіи общественной жизни, какъ таковой: то онъ объявляетъ, что «настоящая» жизнь идетъ независимо отъ всевозможныхъ общественныхъ преобразованій; то утверждаетъ, что только преступникъ, одержимый страстью, знаетъ, въ чемъ заключается «*bien public*»; то иронизируетъ по поводу общественной дѣятельности выводимыхъ имъ на сцену лицъ; то развиваетъ мысль, что одна только бессознательная жизнь имѣетъ смыслъ; то утверждаетъ, что въ исторіи общества все дѣлается само собою, и что историческіе дѣятели суть только ярлыки событій; то рассуждаетъ о законѣ исторіи, который, какъ по предписанію, только и выполняютъ люди общественной дѣятельности, и т. п. Въ то самое время, какъ реализмъ выводитъ гр. Толстого на вѣрную дорогу, это непониманіе самостоятельнаго содержанія исторіи, ея социологической стороны, сбиваетъ его на ложные пути, и его историческая философія представляетъ изъ себя смѣсь удивительно вѣрныхъ и поразительно невѣрныхъ идей съ массою внутреннихъ противорѣчій, которыя объясняются и малою выработанно-


стью изложенія, и недостаточной продуманностью мысли, и полнымъ пренебреженіемъ къ болѣеишей определенности понятій.

Основная концепція «Войны и мира» — двойственность человеческой жизни, какъ личной и исторической, и взаимодействие обѣихъ: человекъ дѣйствуетъ въ исторіи, а исторія вторгается въ жизнь человека. Но это взаимодействие понято гр. Толстымъ односторонне: личность дѣйствуетъ въ исторіи, принимая участіе въ событіяхъ, въ прагматической сторонѣ исторіи, и работая надъ преобразованиемъ культурно-соціальныхъ формъ, что составляетъ соціологическую ея сторону, и гр. Толстой видитъ и понимаетъ только первую, сумму послѣдовательныхъ личныхъ дѣяній, вѣ движенія общественныхъ формъ. Далѣе, дѣйствіе исторіи на личность бываетъ двоякое, а именно: непосредственное вліяніе событий на внутренний міръ личности и на измѣненіе общественныхъ формъ, среди коихъ приходится жить личности, и тутъ гр. Толстой признаетъ только первое дѣйствіе, очень рельефно воспроизводя его въ романѣ, а «все-возможныя преобразованія» объявляетъ чѣмъ-то безразличнымъ для личной жизни. Такая односторонность ограничиваетъ историческій кругозоръ гр. Толстого и дѣлаетъ его философію скептической, какъ только она соприкасается съ общественной дѣятельностью, и фаталистической, какъ только онъ видитъ дѣятеля, стремящагося произвести то или другое во имя той или другой общественной идеи. Личная инициатива въ общественныхъ дѣлахъ, самостоятельное отношеніе къ ихъ теченію въ силу одной бессознательной, «роевой» дѣятельности людей — для него загадка, и онъ колеблется между взглядомъ на все это, какъ на нѣчто призрачное, въ родѣ ярыковъ и бурлящихъ струй, — и

взглядомъ, по которому въ этомъ нужно видѣть слѣпую силу, служащую для осуществленія предписаній закона исторіи. Смыслъ видѣть гр. Толстой въ одномъ личномъ бытіи, и здѣсь онъ является пророкомъ *прав- ственнаго обновленія*, но смыслъ жизни исторической для него закрытъ: передъ его глазами раскрывается одно внѣшнее движеніе, одни событія, одна прагматическая сторона исторіи, но внутреннее содержаніе историческаго движенія, постоянную *перестройку общественныхъ формъ*, не безразличныхъ, конечно, для блага, полноты и свободы личнаго бытія, постоянную постановку и постоянное рѣшеніе общественныхъ вопросовъ гр. Толстой совсѣмъ не воспринимаетъ, какъ слѣпой, чувствующій только солнечный жаръ знойного дня, но не видящій блеска и свѣта солнца. Исторія, лишенная своего реального смысла, не могла у гр. Толстого получить и смысла идеальнаго въ понятіи той цѣли, которую она должна осуществлять, чтобы удовлетворять нации субъективныя требованія отъ жизни, хотя личному бытію онъ ставитъ цѣль въ этическомъ идеалѣ. Процессъ безъ внутренняго содержанія, безъ цѣли, достиженія коей мы могли бы отъ него добиваться, сами участвуя въ этомъ процессѣ, чисто фатальный ходъ непреодолимой силы вещей, устраняющій всякую возможность суда надъ нимъ съ нашей стороны внѣ чисто моральной оцѣнки поведенія дѣйствующихъ въ событіяхъ лицъ, дѣйствіе какого-то «закона», превращающаго живыхъ людей въ части громаднаго механизма,— вотъ что есть исторія, по представленію гр. Толстого. Тутъ реализмъ, остающійся на высотѣ своего назначенія въ поэзіи «Войны и мира» вслѣдствіе своего сочетанія съ этическимъ идеализмомъ, превращается въ чистѣйшій натурализмъ, вслѣдствіе того, что гр. Тол-

стой въ общественныхъ идеалахъ, въ родѣ «свободы, равенства, просвѣщенія», видитъ простыя «отвлеченія», хотя они имѣютъ такое же значеніе, какъ его этический идеаль «простоты, добра и правды». Голый реализмъ, отрицающій всякое творчество идеаловъ, непременно перейдетъ въ натурализмъ, и историческая философія «Войны и мира» служить только подтвержденіемъ этой истины рядомъ съ главною частью произведенія, съ романомъ, гдѣ гр. Толстой сочеталъ реализмъ съ идеализмомъ.

Намъ кажется, что историческая философія гр. Толстого можетъ, съ этой точки зрѣнія, характеризовать всю его литературную дѣятельность, какъ крупнаго реалиста, ставящаго, однако, всѣ вопросы жизни на почву одной личной этики, но индифферентнаго къ общественнымъ формамъ, какъ формамъ, а потому полагающаго, будто общественныя отношенія должны регулироваться одною личною моралью, этикой лично-праведной жизни. Такая философія не можетъ, однако, быть вмѣстѣ и философіей общественной и исторической.



НАХОДЯТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ

СОЧИНЕНІЯ ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Основные вопросы философіи исторіи. Спб. 1887.
(Изд. 2-е). Цѣна за два тома 4 р. 25 к.

Крестьяне и крестьянскій вопросъ во Франціи въ послѣдней четверти XVIII в. М. 1879. Ц. 3 р. 50 к.

Очеркъ исторіи французскихъ крестьянъ съ древнѣйшихъ временъ до 1789 г. Варшава. 1881. Ц. 1 р.

Очеркъ исторіи реформаціоннаго движенія и католической реакціи въ Польшѣ. М. 1886. Ц. 1 р. 50 к.

Литературная эволюція на Западѣ (изъ теоріи и исторіи литературы). Воронежъ. 1886. Ц. 2 р.

Моимъ критикамъ. Защита книги «Основные вопросы философіи исторіи». Варшава. 1884. Ц. 50 к.

Лекція о духѣ русской науки. Варшава. 1885.
Ц. 20 к.

Najnowszy zwrot w hystoryografji polskiej. S.-Pb. 1888.
Ц. 30 к.

Введенія въ курсы исторіи Востока. (ц. 35 к.),
древняго міра (ц. 80 к.), среднихъ вѣковъ (ц. 60 к.)
и новой исторіи (ц. 80 к.).

ПОСЛѢДНІЯ ИЗДАНІЯ Л. Ф. ПАНТЕЛѢВА.

- Тацитъ Н. Сочиненія. Пер. съ примѣч. и со статьею о Тацитѣ и его сочин. В. И. Модестова. Т. I. Агрикола. Германия. Исторія. Ц. 2 р. 50 к.
- „ „ Т. II. Лѣтопись. Разговоръ объ ораторахъ. Ц. 3 р. 50 к.
- Грантъ Алленъ. Чарльзъ Дарвинъ. Перев. съ англійскаго подъ ред. А. Н. Энгельгардта. Съ прилож. статьи Ч. Дарвина «Объ инстинктѣ». Ц. 1 р. 50 к.
- Клазиусъ, Р. О запасахъ энергіи въ природѣ и пользованіи ими для нашего блага. Перев. Флузъ. Цѣна 30 коп.
- Гердъ, А. Я. Учебникъ географіи. Ч. I. Общій обзоръ земного шара. Цѣна 60 к.
- „ „ „ Учебникъ географіи. Ч. II. Азія. Цѣна 50 к.
- „ „ „ Учебникъ географіи. Ч. III. Австралія, Полинезія, Африка и Америка. Ц. 75 к.
- Вейсбахъ, А. Таблицы для опредѣленія минераловъ по внѣшнимъ признакамъ. Пер. С. И. Серебrenникова. Ц. 1 р. 50 коп.
- Баллингъ, Н. Новѣйшіе способы химическаго изслѣдованія продуктовъ горнозаводскаго промысла въ пробирномъ дѣлѣ. Пер. К. Флузъ. Ц. 2 р.

Печатаются:

Тавилдаровъ, Н. И. Курсъ технологіи питательныхъ веществъ. Производства: 1) крахмальное, 2) сахарное и рафинадное, 3) пивоваренное и винокуренное.

Дамскій, А. В. Повторительный курсъ по неорганической химіи. Модестовъ, В. И. Исторія римской литературы, въ 3-хъ томахъ. Тэтъ, П. Теплота.

Бобржинскій, М. Исторія Польши. Пер. подъ ред. проф. Н. И. Карнева.

Дерибургъ. Пандекты. Пер. съ нѣм. М. И. Брунна.

Гурнеевъ, С. М. Учебникъ механики.

„ „ „ Прикладная механика.

Складъ изданій Л. Ф. Пантелѣва въ книжномъ магазинѣ Н. П. Карбасникова. Петербургъ. Литейный проспектъ, 48.

Довзволено цензурою. С.-Петербургъ, 9 марта 1888 г.

Типографія и Литографія В. А. Тиханова, Большая Садовая, д. № 27.

